

Юрий Васильевич Бондарев

Последние залпы



Юрий Васильевич Бондарев

Последние залпы

HarryFan

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=128082

Собрание сочинений в четырех томах. Том первый: Молодая гвардия;

Москва; 1973

Содержание

1	4
2	22
3	36
4	54
5	74
6	82
7	110
8	120
9	136
10	159
11	180
12	199
13	212
14	251

Юрий Бондарев

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ

*Завецаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой Отчизне
С честью дальше служить.
Горевать – горделиво,
Не клонясь головой.
Ликовать – не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братя, счастье свое —
В память война-брата,
Что погиб за нее.*

А. Твардовский

1

В двенадцатом часу ночи капитан Новиков проверял посты.

Он шел по высоте в черной осенней тьме, над головой густо шумели вершины сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат, вся высота гудела, точно гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом. Редкие ракеты извивались над немецкой передовой, сно-

симые ветром, догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы, как будто задувало их.

Молчали пулеметы.

Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых, шел – руки в карманах, ветер неистово трепал полы шинели, – и странное чувство тоски, глухой затерянности в этих мрачных, холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз – и всегда ночью, в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что четыре дня назад, при взятии города Касно, батарея Новикова впервые потеряла девять человек сразу, в том числе командира взвода управления, и Новиков не мог простить себе этого.

– Часовой! – строго окликнул Новиков, останавливаясь, по звуку голосов угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.

Ответа не было.

– Часовой! – повторил он громче.

– А?

Что-то черное завозилось, шурша плащ-палаткой, возле входа в землянку, голос из темноты отозвался сдавленно:

– А! Кто тут?

– Что это за «а»? Черт бы драл! – выругался Новиков. – В прятки играете?

– Стой! Кто идет? – преувеличенно грозно выкрикнул часовой и щелкнул затвором автомата.

– Проснулись? Что там за колготня в землянке? – спросил Новиков недовольным тоном. – Что молчите?

– Овчинников чегой-то шумит, товарищ капитан, – робко кашлянув, забормотал часовой. – И чего они разоряются?

Новиков толкнул дверь в землянку.

Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами. Среди дыма плавали фиолетовые огни немецких плошек, мутно проступали за столом и на нарах красно-багровые лица солдат – все говорили разом, нещадно курили. Командир первого взвода лейтенант Овчинников, с тонким, красивым, самолюбивым ртом, ударил кулаком по столу, покачиваясь, встал, затем, небрежно оттолкнув на бедре тяжелую кобуру пистолета, скомандовал: сипло и властно:

– Прекратить галдеж и слушай тост! За Леночку! А, братцы? Пить всем!

Смутный рев голосов ответил ему и стих: все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова. Он медленно обвел взглядом лица солдат.

– Значит, пыль столбом? – произнес он, хмурясь. – И санинструктор здесь?

То, что веселье это происходило в восьмистах метрах от немецкой передовой и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило Новикова. Удивило то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого нетрезвого шума, сидела на

нарах санинструктор Лена Колоскова. Сидела она, охватив руками колени и покачиваясь взад и вперед, разговаривала с умиленно расплывшимся замковым Лягаловым, смеялась тихим, трудным, ласковым смехом.

«Смеется каким-то жемчужным смехом, – не без раздражения подумал Новиков. – Она пьяна или хочет понравиться лейтенанту Овчинникову. Зачем ей это?» И, стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, он быстро взглянул на нее, потом на Овчинникова, спросил:

– Что у вас тут? Свадьба?..

Он произнес это, должно быть, грубо – все замолчали. Лена вопросительно перевела на него взгляд и вдруг легко и гибко спрыгнула с нар, взяла со стола чей-то стакан, подошла к Новикову, блестя яркими, чуть прищуренными, улыбающимися глазами.

– Да, именно, – сказала, откидывая: голову, – здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова. Лейтенант Овчинников! – приказала она. – Дайте водки капитану!

«Что это с ней?» Она не была пьяна, кажется (а вообще не поймешь!), и дерзко глядела на него снизу вверх, – тонкая нежная шея окаймлена воротом, узкие плечи, крепкая маленькая грудь обтянута суконной гимнастеркой, сжатой в талии широким ремнем.

Не раз ловил себя Новиков на том, что его непривычно смущала постоянная вызывающая смелость санинструктора-

ра, – он почувствовал, что покраснел на виду мгновенно при-
тихших солдат, и, разозленный на себя за это, резко сказал:

– Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор! –
И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил то-
ном приказа: – Прекратить! Что это за веселье? С какой ра-
дости? Всем отдыхать!

Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светло трез-
вые глаза на недопитый стакан, спросил:

– За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения. Не
признаете? Двадцать шесть стукнуло. Лягалов, налей комба-
ту! Ломанем, товарищ капитан?.. Чтоб пыль на всю Европу,
а?

Замковый Лягалов, солдат пожилой, некрасивый, низко-
рослый, обросший золотистой щетинкой на худых щеках, по-
мигал конфузливо на Овчинникова, на комбата, неуверенно
налил из фляги полную кружку, протянул Новикову:

– Товарищ капитан, не побрезгуйте, стадо быть... Чи-
стая-а!

Считался Лягалов непьющим, и то, что он пил сейчас и
протягивал кружку, вконец испортило настроение Новико-
ву. Он оттолкнул руку Лягалова, криво усмехнулся:

– Поздравляю. – И, ссутулившись, шагнул к двери.

Уже на пороге услышал позади себя неловкую тишину, и
стало ему неприятно оттого, что он только что внес в землян-
ку, к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и раздра-
жение. Он знал, что Лена была развращена постоянным муж-

ским вниманием, – это, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря вынуждены были молчать. Ходили слухи: она набила морду и едва не застрелила адъютанта командира полка. Однако Новиков мало верил этому. Походили на правду иные слухи: говорили о ее особенной близости с разведчиками. И Новиков, видя ее маленькую точеную фигуру, ее порочно аккуратную грудь, обрисованную гимнастеркой, лучисто-теплый свет ее глаз, когда она улыбалась, часто слыша ее смех, который тоже был как бы тайно порочен, испытывал болезненные приступы раздражительности. Оттого, что она, казалось, была доступна всем, она была недоступной для него. В первые дни пребывания нового санинструктора в батарее был он с ней нестеснителен, полунасмешлив, иногда в присутствии ее не сдерживался в сильных выражениях – не божий одуванчик, не то видела! После, лежа один в своей землянке, он, мучаясь, вспоминал то чувство, какое испытывал, когда ругался, словно не замечая ее, и не находил успокоения. Его стесняла, ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие и не мог объяснить себе то внезапное неприязненное раздражение, которое она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем.

Выйдя из землянки, Новиков один постоял в холодной осенней тьме. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас сол-

дат, обидел тогда, когда от расчетов его батареи осталось двадцать человек, когда он должен быть добрей, ласковее с людьми, угнетала его.

Ветер гудел в ушах, и в тяжком скрипе сосен слышался Новикову пьяный гул голосов; и оттого, что в землянке бездумно пили спирт и смеялись, как бы забыв о тех, кого похоронили вчера, Новиков испытывал знакомое чувство тоски.

Ощупью нашел пенек – видел его еще днем, – сел, до боли потер небритые щеки, посмотрел в потемки, туда, где за высотой, в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касно, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина – второй в батарее взвод, который он, Новиков, особенно берег. Там не взлетали ракеты.

– Я пошла! – раздался женский голос в нескольких шагах от Новикова.

Из землянки вырвался, стих шум голосов. Желтая полоса света легла на кусты, легкие шаги послышались в четырех метрах от Новикова, и по голосу, по смутному очертанию фигуры он узнал Лену. Она остановилась возле, не видя Новикова, долго глядела на прижатые к горам близкие вспышки ракет – среди шумящих деревьев появлялось ее бледное лицо с непонятно решительным выражением. Сквозь гудение сосен глухо хлопнула дверь, из землянки выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул сипловатым голосом:

– Ты куда ж, Леночка?.. Постой!

– Я стою. Ну а вы зачем? – спросила она негромко. – Я и сама дойду!

Он подошел к ней, проговорил требовательно:

– Куда?

– К разведчикам. Они здесь недалеко, – ответила она насмешливо. – Не привыкла я к вашей батарее. Непохожи вы на разведчиков, лейтенант...

Овчинников придвинулся к ней, сказал тяжелым голосом:

– Непохожи? Хочешь, я ради тебя вон там под пули встану? Хочешь? Не знаешь ты еще!..

– Ну, этого не надо! – Она засмеялась. – Глупость это!

Тогда он сказал с отчаянием:

– Так, да? Все равно не отпущу! Ты наших не знаешь!

Он приблизился к ней вплотную, они будто слились, и тотчас Лена сказала презрительно, протяжно, устало, переходя на «ты»:

– Уйди-и, не справишься ты со мной... Губы у тебя мокрые, лейтенант...

Она оттолкнула его, пошла прочь, а он, сделав шаг назад, позвал громко: «Леночка, постой!» – и кинулся следом за ней. В его сбившемся дыхании, в коротком неуверенном крике было что-то неприятно молящее, унижающее мужское достоинство, и Новиков поморщился. Он встал, пошел к своему блиндажу.

Блиндаж был полуосвещен сонным, желтым мерцанием коптилки. Воздух был тепел, плотен, пахло шинелями, лежа-лой соломой. Дежурный телефонист Гусев, молодой, кругло-головый, прислонясь затылком к стене, спал – устало подер-гивались брови, потухшая сигарка прилипла к оттопырен-ной губе, другая – свернутая – заложена за ухо. Перед ним на снарядном ящике котелок: из недоеденной пшенной каши торчала деревянная ложка. Возле котелка огрызок обмусо-ленного чернильного карандаша, измятый листок, вырван-ный из тетради, ровные, аккуратные строчки были усыпаны хлебными крошками. Видимо, ел и писал письмо. Новиков взглянул на листок, невольно усмехнулся этому аккуратному школьному почерку: «Ты меня не ревнуй, потому что у нас тут женщин нет, только одна сестра, да и то больно некраси-вая...»

Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизи-она, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипы-ванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздеваясь, лег на спину, сбоку нар, на обычное свое место. Закрыв глаза и будто погрузился в горячий, парной воздух, полный разлетающихся искр, в хаос несвязных людских го-лосов, и мутно среди них колыхались лица Лены, лейтенанта Овчинникова – обычный, непонятный мгновенный сон.

Он проснулся от сильного гула, давящего на голову, вско-чил, пьяный от сна.

– Что? Позывные? – спросил отрывисто. – К телефону?..

– Дальнобойная высоту накрыла... – ответил кто-то.

Вся землянка была наполнена запахом тола, желтоватой мутью дыма. В нем вздрагивающими тенями копошились, вскочившие солдаты – все глядели отяжелевшими от сна глазами на крупно трясущийся потолок землянки. Сухо трещали бревна накатов, шевелились, перемещались над головой. А там, вверху, что-то гигантски огромное, душашщее, тяжкое, с хрустом разламываясь грохотом, рушилось на высоту, сотрясало ее. Не стало слышно стонущего шума ветра, задавленного железной толщей разрывов.

– Дальнобойная... накрыла, – шепотом выдавил связист Гусев, бледнея. – Воронки... с дом...

Старший сержант Ладя, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву:

– Спишь, тютя? А ну, что там, на передовой? Узнай!.. – И, застегиваясь, глянув на Новикова, добавил иным тоном: – Вроде началось, товарищ капитан. Слышите? Непохоже на артналет. Ишь ты, заваруха!

И тут же повисил сочный, зазвеневший командными переливами голос:

– По места-ам! Вылетай к орудию!

– Отставить, – остановил Новиков, шагнув к Гусеву, надсадно кричавшему позывные в трубку, и, медленно разделяя слова, спросил: – Команда была от Резеды?

– Никак нет, – бормотал Гусев, обеими руками прижимая

трубку к уху, и тотчас пригнулся к аппарату. Куски земли оторвались от потолка, ударили по аппарату, по плечам его. – Никак нет, – повторил он невнятным движением губ, испуганно потирая круглую стриженую голову.

– Дайте трубку! Связист вы или нет! Вы должны все знать! – сказал Новиков и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота, нагретую трубку. – Резеда! Резеда! Какого дьявола! Что там? Резеда! Питания, что ли, у вас нет? – Покосился на связиста. – Проверляли связь?

– Я Резеда, я Резеда, – внезапно послышался в трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил: – Кто у телефона? Шестого к аппарату, шестого к аппарату! Шестого немедленно к Резеде, немедленно к Резеде!.. Немедленно!

– Я шестой, – объявил недовольно Новиков, глядя в стоявший на снарядном ящике котелок, полный бурой жижи. – Что случилось? Иду! Сейчас иду.

Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета; потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, вынул из кобуры ТТ и легким щелчком выдвинул, проверил кассету и вновь втолкнул в рукоятку пистолета. Он сделал все это молча, без спешки, и солдаты, так же молча, смотрели то на капитана, то на вибрирующий потолок землянки, прислушиваясь напряженно к нарастающему реву снарядов. Новиков же ни разу не взглянул вверх, все хмурясь от чего-то, и тем своим обычным грубоватым тоном, который

так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, коротко приказал:

– Ремешков, пойдете со мной!

Подносчик снарядов Ремешков, парень лет двадцати шести, молчаливый, замкнутый, солдат-счастливец, недавно побывавший после тяжелого ранения в шестимесячном отпуске дома, на Рязани, обратился к Новикову, сидя на нарах, свое крепкое белобровое лицо – в расширенных глазах толкалась мольба. Проговорил еле слышным шепотом:

– Нога у меня... нога... – и, жалко кривя губы, потер колени, низко опустив голову. – По горам ведь... нога у меня, товарищ капитан. Другого бы кого, пока нога-то...

– Другого? – переспросил Новиков, заученным движением сунув пистолет в кобуру. – Другого, говорите?

Он знал, куда надо идти сейчас, и выбрал Ремешкова, потому что тот отлеживался шесть месяцев дома, в то время как солдаты его, Новикова, батареи без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком на батарее.

– Другого, говорите?

Ремешков молчал. Молчали и солдаты.

Блиндаж сотрясало мелкой дрожью, пол туго ходил под ногами, в короткие промежутки между разрывами, как из-под воды, вливался отдаленный пулеметный треск. Теперь уже всем было ясно, что это не обычный артналет, не обыч-

ная перестрелка дежурных орудий и пулеметов после недавних жестоких боев при взятии города Касно, на границе Чехословакии.

И то, что Ремешков робко отказывался идти на передовую, в то время как за неделю от батареи осталось двадцать человек старых солдат, а Ремешков прибыл в батарею днями, прибыл отъевшийся, раздобревший, со здоровым, молочным цветом лица от домашнего хлеба и сала, особенно было неприятно Новикову.

– У нас в батарее приказание два раза не повторяют! – проговорил он жестко и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери.

– Товарищ капитан!..

Ремешков просительно напряг голос, и, вдруг нагнувшись так, что стала видна красная, гладкая шея, со стоном и страданием прошептал:

– Товарищ капитан, разве я... Жалости нет? А?

– Нет! – сказал Новиков и вышел.

Дверь открылась, впуслав грохот разрывов, и захлопнулась. Ремешков все ждал, искательно оглядываясь на солдат, и, потирая колено, повторил умоляюще:

– Нога ведь... Жалости нет?!

– Жалости? Тютя пшенная! Он еще думает, калган рязанский! – звонким, озорным голосом воскликнул старший сержант Ладья, надвигая пилотку на выпуклый лоб. – Морду нажевал в тылу и думает, все в порядке! Еще ему приказ по-

вторять! Воевать приехал или сало жрать?

Было командиру орудия Ладье лет двадцать. Сильный, светловолосый, он по-особому ладно носил пилотку, сдвигая ее на лоб и набок. Весь подогнанный, в немецких, не по уставу, новых сапожках, с немецким тесаком на всегда затянутом ремне, он казался мальчишкой, ради игры носившим военную форму, трофейное оружие.

– Ну? – крикнул он. – Думать потом будешь!

– Озверели, прямо озверели... – жалко и затравленно бормотал Ремешков, озираясь.

Командир второго орудия сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, двигая непомерно широкими квадратными плечами, в тесной, облитой по круглой спине гимнастерке, старательно кряхтя, наматывал портянку. Подмигнув Ремешкову почти ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно:

– А ты лучше бери, землячок, автомат да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то ведь воевал? Понял или нет? Вот автомат возьми. – И, обращаясь к Ладье, прибавил ворчливо: – Оно верно, после теплой печки да жены под боком умирать неохота. Сам небось так бы, Ладья?

– А я бы и в отпуск не поехал! На кой леший он мне! – сказал Ладья решительно и, взяв лежавший на нарах крепко набитый вещмешок Ремешкова, взвесил его с насмешливой улыбкой, говоря: – Давай, давай катись колбасой, тютя!

И подтолкнул Ремешкова в будто окаменевшую спину.

Оглушенные грохотом снарядов, рвущихся по всей высоте, они некоторое время стояли в ходе сообщения. Взлеты огня беспорядочно выхватывали из тьмы ощипанные стволы сосен. С острым звоном полосовали воздух осколки, бритвенно срезали землю на брустверах. Она сыпалась на фуражку Новикова. Отплевывая хрустевшую на зубах землю, он ощупью нашел холодный телефонный провод, ведущий от орудий на передовую, и, не выпуская его, посмотрел в сторону города Касно. Все пространство за высотой – километра на два – было освещено как днем. Гроздья ракет торопливо повисали там, пышна иллюминируя низкие облака. В них взвивалась, наискось красные трассы. Небо за высотой все время меняло окраску, наливалось густой багровостью – что-то горело в городе.

– Пойдете по проводу! Я за вами? – приказал Новиков Ремешкову. – Берите провод, он в моей руке! Вот!

– Провод? – глухо переспросил Ремешков.

Но когда Новиков почувствовал прикосновение чужих потных пальцев к своей руке, лопнул рев над головой – будто огненный шар, ослепив, разорвался в небе. Сверху ударило жарким воздухом, бросило Новикова на землю. Снаряд лопнул, задев о ствол сосны.

«Разобьет орудия», – беспокожно подумал Новиков и сейчас же услышал стонущий голос Ремешкова:

– Ударило... по голове ударило... товарищ капитан. Всего ударило!

– Э, черт! – с досадой сказал Новиков, подымаясь. – Ранено, что ли? Где вы тут... ползаете?

В бледном отблеске расцветенного ракетами неба он увидел у стены траншеи скорчившуюся фигуру Ремешкова. Охватив руками голову, он глядел на Новикова опустошенными, рыскающими глазами, и это выражение успокоило Новикова, – раненные смотрели иначе.

– Крови нет? – спросил он и добавил насмешливо: – Еще до передовой не дошли, а вы... Как воевать будете? Ну, пошли, берите провод.

Ремешков поднес к глазам белые ладони и, странно всхлипнув, пробормотал облегченно:

– Взрывной волной меня...

– Не взрывной волной, а страхом.

Новиков пошел вперед, продвигаясь по ходу сообщения к орудиям.

В трех шагах от землянки Овчинникова почти натолкнулся на высокую человеческую фигуру, стоявшую в рост.

– Кто тут? Эй! – с угрозой рявкнул в лицо человек, и автомат тупо уперся Новикову в грудь. По голосу узнал часового первого орудия Порохонько; отведя рукой ствол автомата, сказал:

– Свои. Ближе подпускаете! – И, сразу же заметив возле Порохонько освещенную слабым заревом тонкую фигуру

Лены (стояла неподвижно, прислонясь спиной к траншее), спросил ненужно: – И вы тут? Вы же к разведчикам хотели идти?

– Хотела... – неохотно ответила она и спросила с вызовом: – А вы откуда знаете?

Новикову стало жарко, не рассчитав неожиданности вопроса и, увидев в больших вопросительных глазах на близком ее лице горячие отблески ракет, повернулся к Порохонько, хмурясь:

– Орудия целы?

Порохонько, как бы поняв все, лениво поскреб темнеющую щетину на узком подбородке, непонятно хихикнул.

– Ось кладет, ось кладет снаряды, як пишет... И кидает и кидает, сказывся чи що, фриц треклятый! А орудия дышат. Куда же вы, товарищ капитан?

Не ответив, Новиков двинулся дальше по траншее, однако Ремешков, поправляя на спине вещмешок, выкрикнул глуховато:

– Фрицам в зубы, куда еще!... – И голос его покрыло разрывом; дым застлал зарево.

Он нырнул головой в траншею, побежал, горбатно согнувшись.

– Товарищ капитан! – безразличным голосом окликнула Лена. – Подождите.

Он приостановился.

– Я с вами на передовую, – сказала она, подойдя. – Мне

нечего здесь делать. Видите, что там? А я ведь в разведке привыкла к передовой.

– Привыкли?

И это напоминание о разведке, о той непонятной легкой жизни Лены в полку вновь ревниво толкнуло Новикова на грубость.

– Что вы мешаетесь тут, товарищ санинструктор, со своими дамскими штучками! – сказал он, хотя сам не мог вложить точного понятия в эти «дамские штучки». – Что, спрашивается, я теряю тут с вами время?

А она будто вздрогнула, как-то некрасиво искривив рот, сказала страстно и тихо:

– Может быть, солдаты вас любят, товарищ капитан, может быть. А я вас терпеть не могу! Терпеть не могу! Другое бы сказала, да Ремешков здесь!..

– Спасибо, – произнес он, силясь говорить вежливо. – А я думал, что сейчас можно не терпеть только немцев.

И по тому, что она говорила с ним грубо и он увидел ее ставшее некрасивым лицо, Новиков понял, что никакие другие отношения, кроме уставных, не могут связывать их, и почувствовал какое-то тоскливое облегчение, похожее на медленно проходящую боль.

2

Весь центр этого польского города с тяжелой готической высотой костела, прочно стоявшего среди каменной площади, на которой возле железной ограды чернели мертво обуглившиеся немецкие танки, и пустынные улицы, поблескивающие красными черепичными кровлями, наглухо опущенными металлическими жалюзи, с тенями обнаженных осенних садов за заборами, каменными мостовыми – все было залито недалеким заревом, встававшим над западной окраиной.

Врезаясь в зарево, искрами рассыпались над крышами очереди пуль, частый, захлеб, треск пулеметов не заглушал тонкого шитья автоматов, твякающего звона мин. Тяжелые снаряды тугим громом раскалывались на каменных мостовых, жаркий ветер вздымал ворохи сухих листьев, швырял в лицо, корябая, как горячим наждаком.

Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал, сотрясаемый эхом, с крыш ссыпалась на тротуар черепица. И среди этих звуков возникали новые, визжа, нарастая. Достигнув последней своей точки – пронзительного скрежета трамвая на поворотах, – звуки обрывались.

Новиков и Ремешков упали рядом около какого-то подъезда, дважды резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной, этой же силой Новикова притиснуло к окаменевше-

му плечу Ремешкова, и жаркий, разбухший от ужаса голос зашептал в лицо ему:

– Побрился я... Зачем я побрился, а?..

– Что? – не понял Новиков. – Что бормочете?

Ремешков, втянув голову в плечи, как бы не видя Новикова, шептал с придыханием, будто из ледяной воды вынырнул:

– Побрился я, побрился... С Днепра примета... перед боем... Побреешься, или чистое белье наденешь, или в баню... У меня дружка так... под Киевом.

– Молчите! – неприязненно оборвал его Новиков. – У меня в батарее будете бриться. И в баню ходить. – И добавил тоном, не допускающим шуток: – Умрете, так хоть выбритым. А борода растет и у мертвецов. Не видали? – И злым движением встал. – Встать! Вперед!

Ремешков поднялся, разогнувшись, по-бабьи расставив полусогнутые ноги, стоял возле каменной стены особняка, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин; сдерживая дыхание, забормотал:

– Куда идти? Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан! Со всех сторон бьют... Окружают?

В мутной глубине улицы взлетали конусы разрывов.

Едкий дым несло вдоль оград, мимо сгоревших на мостовых немецких танков. Город обстреливали дальнобойные батареи, снаряды прилетали с запада и юга: было такое ощущение – Касно окружен. Новиков, однако, не испытывал пока большого беспокойства, – вероятно, складывалась обычная

обстановка в условиях Карпат; немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам.

– Окружили, отрезали, обошли! Сорок первый год вспомнили? – сказал Новиков. – Вперед! И не на полусогнутых, черт дери!

И побежал в глубину улицы.

Как только достигли западной окраины города, близкие пожары ослепили их, и оба горлом ощутили неистовый, раскаленный ветер. Он, как в воронке, крутил по всей окраине огромные метели огня, искр, пепла. Впереди жарко горели дачные коттеджи на берегу длинного озера. Красный отблеск воды висел в воздухе. Над озером, в дыму, сталкиваясь, перекрещиваясь, мелькали огненные нити пулеметных очередей; и частые вспышки оружейных зарниц в горах, мерцающие сполохи танковых выстрелов, малиново-круглые разрывы мин на берегу, звуки непрерывающейся автоматной стрельбы – все это бросал и рвал над окраиной опаляющий до сухости в горле ветер.

– За мной, бего-ом!

Новиков первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, увидел впереди темнеющий ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. Сразу зазвенели под ногами стреляные автоматные гильзы. Два солдата молча сидели здесь подле патронных ящиков, не шевелясь, курили в рукава. Когда Новиков спрыгнул, солдаты не подняли головы, только утомленно подобрали ноги в об-

мотках.

– Артиллеристов не видели из артполка? – крикнул им Новиков.

Один из солдат, седой уже, снизу посмотрел серьезными слезящимися глазами, трескуче закашлялся, сотрясаясь, сделал какие-то жесты оттопыренными локтями и ничего не объяснил, – видимо наглотался гари и дыма, пока нес до траншеи патронные ящики. Другой, помоложе, будто оправдываясь в том, что сидели здесь и курили, прокричал на ухо Новикову:

– Пехота мы, товарищ капитан! Вон какое дело-то! Патроны носили... из боепитания... А артиллеристы там, во-он – на высоте...

До высоты – метров сто – шли по траншее, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали от рвущихся возле снарядов. С хриплой руганью отряхивая землю с шинелей, солдаты вдруг выныривали головами из траншей, ложась грудью на бруствер, стреляли за озеро. Кто-то басил сорванным от команд голосом:

– По домику, по домику! Вон они у забора легли!..

Впереди, на самой высоте, лихорадочно дрожали вспышки очередей – человек за пулеметом отшатнулся вбок, крикнул злобно: «Ленту!» – и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа, в розовую от зарева полутьнь. Отстегнув флягу и

запрокинув голову, стал пить жадными глотками. Когда Новиков подошел, человек этот перевел на него узкие черные горячие глаза, в Новиков увидел потное лицо, прилипшие ко лбу мокрые кругляшки волос – это был командир отделения разведки Горбачев.

– Вы что это тут? Пулеметчиков не хватает? – удивился Новиков. – Где командир дивизиона? Здесь?

Горбачев, бедово прищурясь, отбросил в сторону пустую флягу.

– Вовремя, товарищ капитан! Ждут вас. Начальство. И Алешин здесь. А пулеметчиков тут угробило. Пока суд да дело, дай, думаю... шкуры фрицам посчитаю! – И спросил усмешливо: – Разрешите, а? Пока суд да дело!..

В просторной землянке командира дивизиона, посреди роскошного лакированного столика, принесенного из города, в полный огонь горела, освещая низкий потолок, лица офицеров, вычищенная трехлинейная лампа. Двое связистов, натянув на уши воротники шинелей, спали на соломе в углу.

Командир дивизиона майор Гулько сидел, сутулясь, в растегнутой гимнастерке, без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. Худощавое лицо его с грустными, армянского типа глазами, как обычно, едко, широкие брови, сросшиеся на переносице, безглаголиво подымались. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина,

молоденького, всегда веселого без всякого повода, звонкого-голосого, как синица. Алешин старательно сдувал пепел с карты, смуглые пятна волнения шли по чистому лбу, по стройной шее гимнаста. Говорил он и все оглядывался весело на спящих связистов, на стены землянки, задерживал оживленный взгляд на огне лампы и только не смотрел в сторону майора Гулько, будто опасаясь внезапно и некстати рассмеяться. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс; рукава засучены до локтей. С мрачно серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу: Гулько страдал радикулитом. Он ерзал, сопя волосатым носом, пригибался под нажимами ладоней ординарца, сидел, однако, с выражением независимым, был, казалось, всецело занят Алешиным.

Когда вошел Новиков и следом за ним Ремешков, возбужденно раздувая ноздри, майор Гулько выгнул спину, всматриваясь поверх огня лампы, произнес желчно:

– А, Новиков! – и тускло улыбнулся. Но даже и эту ласковость, которую при встречах иногда замечал Новиков, Гулько тотчас прикрыл ироническими морщинами на лысеющем лбу, скосил глаза на ручные часы, потонувшие в густых волосах запястья, выговорил:

– Не торопитесь на передовую, капитан. Тыловые настроения? Французское шампанское распиваете? Трофеи? Или с прекрасными паненками романы крутите? Под гитарку...

Мм? Или санитарочка там у вас?

Был Гулько разведен еще задолго до войны, о женщинах не говорил всерьез, считал себя прочным холостяком и, быть может, поэтому постоянно подозревал своих офицеров в вольности и легкомыслии, что, по его убеждению, свойственно лишь нерасчетливой молодости.

– Прибыл по вашему приказанию, – сухо доложил Новиков и подумал: «Обычное радикулитное настроение».

– Веселенькое дело, – продолжал Гулько, обращаясь не к Новикову, а к сигарете, которую с отвращением вертел в тонких прокуренных пальцах, и вдруг, сапнув носом, спросил, отрезвляюще внятно, повернувшись к ординарцу; – Расходился? Мозолями кожу снимаешь? Рашпиль. Хватит. Genug¹. Побереги водку.

Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на столик, прижав кулак ко рту, смотрел на Новикова покрасневшими от напряжения, плещущими весельем глазами, – он давился от смеха. Гулько почесал спину, кряхтя, потом, застегивая гимнастерку, покосился на Алешина с брезгливым видом.

– Что у вас, Алешин? Смешинка в рот попала? Прошу набраться серьезности. – И кивнул Новикову. – Садитесь как можете. К столу. Что смотрите? На шнапс? Нет, вызвал вас не водку пить.

– Я не просил водки, товарищ майор, – сказал Новиков, садясь возле Алешина.

¹ достаточно (нем.)

– Совсем приятно, – скептически проворчал Гулько, застегивая ремень. – Консервы, пожалуйста, поковыряйте вилкой. Хорошие датские консервы. Свиные. Но, как ни странно, и нам годятся.

Новиков нетерпеливо свел брови, глядя на карту. Он знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка, тем скептически болтливей и вроде бы равнодушней ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. В самые опасные минуты боя Гулько можно было видеть на НП возле стереотрубы – подавал команды, сморщив лицо застывшей гримасой неудовольствия, зажав вечную сигарету в зубах, и без гимнастерки – ординарец пуговицу пришивал! В период обороны шлепал по блиндажу в мягких домашних тапочках, постоянно лежал на нарах, читал затрепанный томик Гете с недоверчивым выражением и, словно подчеркивая эту недоверчивость, шевелил пальцами в носках. Было похоже: хотел он жить по-холостяцки удобно, вольно, скептически презирая строевую подтянутость, однако большой вольности подчиненным офицерам не давал и все же слыл за домашнего, штатского человека. Новиков же считал его чудачком, не живущим реальностью, и был с ним подчеркнута сух.

– Слушаю вас, товарищ майор, – сказал Новиков официальным тоном.

– Дело вот какого рода. – Гулько прикурил от сигареты сигарету, выпустил струю дыма через рот и нос и ядовито покривился. – Фу, пакость! Солома, а не табак! – И концом си-

гареты обвел круг на карте, заключая в него Касно. – Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев к границе Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада. Основательно жмут. Хотят вернуть город. А почему? Смотрите. По горам с танками не пройдешь, естественно. А город этот – узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе, на север. Вдоль озера... Вся петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в двадцати от Касно. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии замкнули в Ривнах немецкую группировку. Очень сильную группировку. Много танков и прочая петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касно в Чехословакию. А там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тисо. – Майор Гулько в раздумье поглядел на часы, положив волосатую руку на карту. – Два дня город Марице блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касно на Марице, соединиться с немецким гарнизоном, на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада – захватить Касно, узел дорог, помочь прорваться северной группировке. Такова обстановочка. Таковы делишки. – Гулько затянулся сигаретой. – Вообще не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, в Венгрии... Слышите музыку с запада? Мм?..

Майор Гулько, прижмурясь, посмотрел на трясущиеся от разрывов накаты. От глухих ударов сыпалась со стуком земля на стол, звенело стекло лампы, будто сильные токи проходили по земле. И Новикову почему-то хотелось рукой придержать лампу – жалобное дребезжание раздражало его.

Младший лейтенант Алешин, напряженно и серьезно глядевший на карту, вдруг снова заулыбался, встал и начал отряхивать фуражку, вытирать шею, весело встряхнулся, притопывая сапогами.

– Ну вот, – сказал он, – за шиворот насыпалось! Просто баня.

Никто не ответил ему. Гулько, пососав сигарету, досадливо сплюнул табак, по-прежнему ленивым голосом продолжал:

– Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь. На живописном берегу озера. Направление стрельбы – ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас: танки пятого корпуса – справа. Плюс иптаповский полк и гаубичные батареи. Слева – чехословаки генерала Свободы. Воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин! – чуть поднял голос Гулько. – Покажите своему комбату местостояние батареи.

– Слушаюсь! – живо ответил Алешин.

– Пе-етин! Горячей воды, бриться! – крикнул Гулько, густо выпустив через волосатые ноздри дым, ворчливо догово-

рил: – Я буду на местности через полтора часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность!

«Черт совсем возьми со всей его чистоплотностью, – подумал Новиков, подымаясь, оглядывая чистую эту землянку со слабым запахом одеколona и водки, с круглым туалетным немецким зеркальцем на столике, на котором сверкал никелем трофейный прибор, забитый ножичками и щеточками для чистки ногтей и расчесывания волос. – Живет как дома!» И, не скрывая презрения к этой женственно опрятной обстановке, к этой потуге удобства быта, от которой как бы веяло прежними холостяцкими привычками майора, Новиков спросил все так же официально:

– Разрешите идти?

И первый вышел из землянки в траншею.

Горьковато-сырой, пропитанный гарью ветер гулко рвал звуки выстрелов, дробь пулеметов, дальше и тупое уханье тяжелых мин, комкал все это над траншеей и нес гигантское неумолкающее эхо. Красный туман мрачно клубился над озером, лица солдат в траншее казались сизо-лиловыми. Пулеметы длинно стреляли за озеро, в пролеты меж ярко горящих домов, где были немцы, и Новиков сверху видел это бесконечно вытянутое вдоль возвышенности озеро, налитое огнем пожаров.

Пули торопливо шелкали по брустверу, сбивая землю, и Новиков тут же схватился за фуражку, ее будто ветром толк-

нуло. Надвинул козырек на глаза, пригнувшись, выругался.

– Что? – крикнул Ремешков за спиной.

– Земля, – ответил Новиков.

– А-а...

Ремешков присел на корточки, снизу с загнанным выражением следил за Новиковым. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило, хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера; тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И оттого, что не случилось этого и теперь обязательно надо было идти, почувствовал он, как грудь сжало знобящим холодом, ноги обмякли. Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко, словно ударил по сердцу Ремешкова:

– Скоро там, Алешин?

– Готов, товарищ капитан! Идем! – послышался голос младшего лейтенанта.

Дверь землянки на миг выпустила свет лампы, обжитое тепло, где было, казалось, по-домашнему покойно, то тепло, которое так не хотел покидать Ремешков.

«Эх, взял бы майор меня в ординарцы, разве таким, как Петин, был!» – пожалел завистливо и отчаянно Ремешков и, услышав веселый голос Алешина, подумал с неприязнью: «Фальшивят они, играют, веселость создают. Не от души это все. Кому война, а кому мать родна!»

– Э, кого тут занесло? Кто тут на карачках ползает? – ска-

зал Алешин и засмеялся непринужденным молодым смехом, споткнувшись о ноги Ремешкова.

И тогда Новиков окликнул строго:

– Где вы, Ремешков?

С трудом и тоской Ремешков встал, оторвав свинцовое тело от земли, хромая, подошел к Новикову, тот пристально, сожалеюще глядел на него прямым взглядом. Спросил:

– Что вы?

– Нога... – Ремешков застонал, потирая колено; плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной, как горб.

– На кой... прислали вас ко мне? – не выдержал Новиков. – Вы что, воевать приехали или задницу греть возле печки? Шесть месяцев торчали дома и ногу не вылечили. А если не вылечили – терпите! Не то терпят! Запомните, я ничего не хочу знать, кроме того, что вы солдат! Перестаньте морщиться! И стонать! Лучше «сидор» скиньте, пуда два за спиной носите!

Новиков понимал, что говорит жестоко, но не сдерживал себя. Три раза сам он после ранений лежал в госпиталях, и там и потом в части ему не только не приходилось показывать на людях свои страдания, но, наоборот, скрывать, стыдиться их. Новиков повторил:

– Перестаньте стонать!

Ремешков перестал стонать – стучали зубы, – но вещмешок не снял, а только потрогал ляжку трясущимися пальцами.

– Да оставьте его здесь, товарищ капитан! – беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески напряженное лицо Ремешкова. – Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой.

– Он пойдет с нами.

И Новиков, упершись носком сапога в нишу для гранат, с решительностью вылез из окопа.

Ремешков оставался в траншее последним. Подняв глаза, он увидел, как пули пунктирами пронеслись над головами Новикова и Алешина. Ладони сразу вспотели, влажно прилипли к ложе автомата. Раздувая ноздри, часто-часто задышал он ртом, будто ему воздуха не хватало. «Если я оглянусь сначала направо, а потом налево, то меня не убьют, если не оглянусь...» – подумал он и оглянулся сначала направо, потом налево и, как в пелене, заметил розовые от зарева лица ближних солдат в траншее. Со странным коротким вскриком он выскочил на бруствер, на резкий порыв ветра, спотыкаясь о свежие воронки, часто падая, чувствуя ладонями острые, разбросанные по земле осколки, он побежал за Новиковым, готовый закричать от ожидаемого удара в спину.

«Там вещмешок за спиной, вещмешок! Пулями не пробить! – мелькало в его голове. – Нет, нет, сразу не убьет, ранит только...»

Он догнал офицеров возле крайних домов и, прислонясь к забору, не мог сказать ни слова, хрипло дышал.

3

В два часа ночи, после рекогносцировки, Новиков послал Ремешкова на старую огневую с приказом немедленно снять орудия Овчинникова и в течение ночи занять позицию в районе севернее города, на новой высоте, правее озера.

Ожидая орудия, Новиков сидел на земле в пяти шагах от новой позиции батареи. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат, движение тел в темноте – копали расчеты Алешина. А вокруг стояло неподвижное глухое затишье. Озеро мерцало алыми тихими отблесками, на той стороне молчали немцы. Там была Чехословакия.

Здесь, в четырех километрах на север от основного боя и в двухстах метрах от немцев, смутное чувство тревоги охватывало Новикова. Казалось, недоставало чего-то ему, что он непоправимо ошибся, однако не мог ясно найти, уловить точные причины того, что беспокоило его, как пристальный взгляд в спину. Озеро уходило вперед, дымно тускнея, северная оконечность упиралась в черный кряж Карпат, далеко справа розовой стрелой уносилось из Касно на Ривны шоссе, терялось в ущелье; оно сумрачно клубилось сизо-черным туманом.

– Товарищ капитан! Хотите великолепные сигареты? Польские! «Монополия»! О, черт, смотрите, что в городе!

Подошел Алешин.

Молча Новиков отогнул рукав шинели, взглянул на часы, на фосфоресцирующие цифры, потом посмотрел назад – на отдаленный город, залитый заревом. Там беспрестанно возникали косматые звезды разрывов, вспышки танковых выстрелов вылетали навстречу друг другу, точно сталкивались над озером, которое километров на пять вытянулось вдоль границы Чехословакии. Ветер дул с севера, гудел по высоте, где сидел Новиков, и приглушал звуки боя.

– А здесь молчат, – сказал Новиков и вдруг, увидев над огневой слабый отсвет, спросил: – Кто курит? Прекратить! Богатенков, что ли, терпеть не может?

В ответ, – тишина.

Слабое свечение над окопом исчезло. Кто-то надсадно закашлялся там, будто поперхнувшись. Младший лейтенант Алешин вынул из кармана шинели огромную коробку трофейных сигарет, залихватски толкнул коробкой козырек фуражки, сдвинул ее на затылок, отчего юное лицо стало наивно-детским, отчаянным, сказал добродушно:

– Черти!.. – И, помолчав немного для приличия, заговорил веселым голосом: – Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры, с ума сойдешь! Роскошь! Пойдемте, рядом тут. Вон внизу...

– Пустой особняк?

– Совершенно.

Особняк этот, просторный двухэтажный дом, стоял мет-

рах в ста пятидесяти от высоты в липовом полуоблетевшем парке за железной оградой, с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов.

Они вошли в парк, угрюмо-темный, огромный. И он поглотил их печальным шорохом, шелестом опавшей листвы на дорожках, ровным текучим шумом полуоголенных лип. Сухие листья летели в темноте, цеплялись, липли к шинелям. Новиков слышал, как сапоги с мягким хрустом уходили в плотный увядающий настил, отовсюду из засыпанных листопадом аллей веяло безлюдьем, грустно-горьковатым, дымным запахом поздней осени.

В глубине парка возле темного дома гладко блестел заросший кустами бассейн, в густо-черной воде мирно плавали листья, собравшись целыми плотами, и Новиков впервые за много дней увидел здесь, между этими плотами-листьями, острый блеск звезд в черноте неподвижного водоема. Лягушка, испуганная шагами, звучно шлепнулась в воду, и звезды у берега закачались, заструились.

Новиков остановился, посмотрел. Он любил только лето, привык в годы войны ненавидеть осень за раскисшие от дождей дороги и внезапно подумал, что стал забывать неповторимые особенности того довоенного мира, ради которого ненавидел и осень, и немцев, и самого себя за теску по тому миру. Услышав голос Алешина, Новиков обернулся:

– Вот чепуховина, что это? Что за насекомое?

Младший лейтенант Алешин с детски озорным любопытством посветил в воду карманным фонариком, и Новиков неожиданно для себя проговорил, улыбнувшись:

– Бросьте, обыкновенная лягушка!

– Вот дура! – восторженно воскликнул Алешин.

– Дайте фонарь.

Новиков поднялся по ступеням застекленной террасы, зажег фонарик.

Первый этаж дома был пуст. В нем не жили, вероятно, больше недели, пахло пыльными коврами, сладковатой духотой чужого жилья, незнакомой роскоши. На полированной мебели, на мягких сиденьях низких кресел – серый слой со следами пальцев. Везде признаки торопливого бегства: в углу холла темнел толстый ковер, свернутый в рулон; широкий, на полстены, сервант, искристо сверкавший стеклом, хрустальными рюмками, распахнут; ящики, заваленные столовым серебром, наполовину выдвинуты. Возле светились на ковре осколки фарфоровых чашек. Видимо, в поспешности искали самое ценное, что можно увезти, в злобе ломали, били то, что попадалось под руки и мешало. Зеркало трельяжа, – очевидно, прикладом – расколото посредине, перед ним на полу невинно розовела тончайшая женская сорочка с кружевами.

– Балбесы! – сказал Алешин гневно. – Что наделали, идиоты дурацкие!

– Кто там? Танцуют, что ли? – Новиков указал фонариком

на потолок, где дробно громыхали шаги, заглушенно проникали в нижний этаж голоса.

– Тут один разведчик, старшина Горбачев, – ответил Алешин, пожав плечами.

Светя перед собой фонариком, Новиков по плавно пружинящему ковру лестницы поднялся на второй этаж. Смешанным теплым запахом духов, едкой терпкостью нафталина пахло навстречу. Зеленый полумрак дымом стоял в этой с низким потолком комнате, – вероятно, спальне, – на окнах тщательно были задернуты тяжелые шторы. Трое людей были здесь. Двое незнакомых – офицер и солдат – с сопением возились подле шкафов, суетливо выкидывали оттуда шелковое женское белье, выбирая мужское, набивали им вещмешки, уминали кулаками. Разведчик Горбачев, высокий, гибкий в талии, сидел верхом на кресле, пожевывая сигарету в уголке рта, презрительно цедил сквозь дымок:

– Барахольщики вы, интенданты, на передовую бы вас... – И, увидев вошедших офицеров, лениво встал, не без достоинства и несколько небрежно козырнул, снисходительно произнес:

– Интенданты из медсанбата. Подштанники для солдат добывают... Да кружева все. Ха!

– Кто приказал? – спросил Новиков, подходя к интендантам. – Я спрашиваю, кто приказал?

Один из интендантов, шумно отдуваясь, повернулся – был он потен, красен, коротконог, крючок шинели расстегнут,

толстые щеки выбрито лоснились, лицо начальственное, виски седые – капитан интендантской службы. Разгоряченный, собрав веки в узкие щелки, спросил низким прокурренным баритоном:

– А вы кто такой? Что нужно? Что? Что такое?

– Я вас спрашиваю, кто приказал рыться здесь? – повторил Новиков, казалось, спокойным голосом и вскинул на капитана глаза, вспыхнувшие гневным огоньком. – А ну, вытряхивайте из мешков все до последней нитки! И марш отсюда! Ко всем чертям!

Интендант, вытерев пот на квадратном лице, смирил взглядом невысокую фигуру Новикова, заговорил самоуверенно:

– Прошу потише, капитан, не берите на себя много. Не для себя стараюсь, для вас же, солдат и офицеров, для медсанбата белье! Главное, спокойно, спокойно... Васечкин! Бери, и пошли! – командно рокотнул капитан в сторону солдата с унылым, болезненным лицом.

Солдат этот, растерянно тыча руками, топтался возле распахнутой дверцы бельевого шкафа, нерешительно поднял четыре до тесемок набитых вещмешка. Два остальных взял, отпыхиваясь, тучный интендант, предупреждающе строго глядя на Новикова.

В то же мгновение Новиков шагнул навстречу, загородив дорогу, сказал сквозь зубы:

– Первую же сволочь, которая с барахлом переступит по-

рог... Назад!

Сутулый солдат, словно толкнуло в грудь, попятился, путаясь сапогами в кучах разбросанного женского белья, неуверенно опустил вещмешки у ног. Капитан, по бычьей нагнув голову, с закипевшей слюной в уголках рта, крикнул:

– С дороги! Не лезь не в свое дело! Мальчишка!..

И в ту же секунду, издав горлом сиплый звук, рванул на боку кобуру нагана.

– Младший лейтенант, отберите у него эту игрушку! – быстро и жестко сказал Новиков.

Младший лейтенант Алешин и следом Горбачев, пригнувшись, ринулись на капитана, и тотчас в углу послышалась тяжелая возня, злое сопенье капитана, умоляющие вскрики сутулого солдата: «Зачем вы, товарищ капитан?.. Зачем?» И когда интенданта, грузного, с гневно налитыми кровью глазами, выводили из комнаты, он упирался короткими ногами, придушенно кричал:

– Наган отдайте! Личное оружие... Не имеете права! Не для себя белье, для медсанбата! Медсанбат разбомбило, ни черта не понимаешь! Молокосос!

Вывели его. Шаги, крики капитана удалялись, стихали на нижнем этаже. Новиков подошел к столу, налил себе полстакана воды и стоя залпом выпил.

– Ну и мордач! Обалдел, просто обалдел! – почти восхищенно воскликнул Алешин, входя вместе с Горбачевым, оправляя ремень. – Вот игрушку взяли. – Он, возбужденный,

зачем-то обтер о шинель наган, положил перед Новиковым и, вроде бы ничего не случилось, сел к столу, независимо пощурился на свет лампы под зеленым абажуром. Затем потянулся к ящичку, набитому плитками шоколада. С удивлением посмотрел на рисунок обертки: женская головка со смеющимися глазами, долька шоколада возле полуоткрытых губ; рядом чужие буквы на фоне башни, на железных пролетах. Сдвинув фуражку на затылок, прочитал, растягивая слова:

– Па-ри-ис, – и повел детски заинтересованными глазами на Новикова. – Что такое? Что за «Парис»?

– Это по-французски – Париж. Немцы еще жрут французский шоколад, – ответил Новиков. – А это Эйфелева башня. Конструкция инженера Эйфеля. Кажется, триста метров высоты. А впрочем, может быть, и вру. Забыл...

И, отодвинув наган к консервным банкам, отошел от стола. Внимательно оглядел комнату, повсюду разбросанное белье на ковре, двухспальную, распухшую развороченной периной кровать, мягкие кресла. Потом достал из ниши над широкой тахтой запыленную книгу, полистал, молча швырнул на пол, сунул руки в карманы, прошелся по глушащему шагу ковро.

– Немцы, – сказал он. – Здесь жили немцы, а не поляки. Отдыхали немецкие офицеры... Ясно... Курортный городок.

– Да шут с ними, товарищ капитан, – успокоительно сказал Горбачев, улыбнувшись глазами из-под черных, свесив-

шихся на лоб волос. – Садитесь, закусим, чтоб дома не журились! Здесь продуктов – подвал! На год хватит. Товарищ младший лейтенант, вам, может, винца? А шоколад-то, разве это закуска? Плюньте. Ерунда!.. В подвале его штабеля... – Вина? Пожалуйста.

Алешин отложил развернутую плитку шоколада, вопросительно посмотрел на Новикова, внезапно жарко покраснел. Взял рюмку, наполненную ромом, и как-то торопливо, неумело, давясь, выпил, после чего долго мигал, вбирая воздух ртом, наконец выдавил:

– За победу! Лихая, фиговина. А крепка!.. – и, наклонясь к полу, будто уронив что-то, смахнул с ресниц выжатые ромом слезы. Выпрямился и уже с наигранным выражением лихости откусил половину шоколадной плитки.

Горбачев, выпив рюмку одним глотком, не поморщился, понюхал только корочку хлеба, стал тыкать вилкой в банку свиных консервов, подвигая их Алешину. Однако тот, жуя шоколад, замотал протестующе головой, говоря смело:

– Так привык. Спирт в Трамбовле котелками дули и даже ничем не закусывали! Верно, товарищ капитан? Помните? Ух и рванули!

Новикову нравился этот синеглазый младший лейтенант с веселым лицом, с резкими конопушками на носу; нравилось, как скрывал он юную свою чистоту наигранной беспечностью бывалого человека. Новиков знал: Алешин никогда не пил котелками спирт, в Трамбовле же, когда разведчики

принесли канистру трофейного спирта, младший лейтенант, сославшись на дурачки болевший живот, пить вовсе отказался. Но сейчас Новиков сказал:

– Помню. Вы здорово тогда пили.

И чуть улыбнулся, увидев, как Алешин, красный, сразу захмелевший, блестя глазами, разворачивал хрустящую серебристую обертку второй плитки шоколада, добавил:

– Очень здорово и лихо вы пили! Ну, пошли! Батарея должна уже прибыть. Горбачев, вы останетесь здесь. Вернутся эти – гоните! Ясно?

– Слушаюсь!

Новиков взглянул на часы, пошел к двери. Алешин с видом разочарования рассовал по карманам четыре плитки шоколада, затем упруго встал, толкнул козырек фуражки со лба, начальственно строго сказал Горбачеву:

– Чтоб все как в аптеке, ясно? – и двинулся за Новиковым старательно прочной походкой.

Когда шли по глухой аллее парка, едва заметно посветлел воздух, проступили среди неба верхушки оголенных лип, и Новиков уже не смотрел на часы, – шагал по шелестящим ворохам листьев, глядя сквозь узорчатые очертания ветвей на высоту. Он прислушивался, и только по привычно знакомому перезвону вальков, по отдаленным голосам команд на высоте, по крутой ругани ездовых понял, что орудия прибы-

ли.

«С ума спятил, что ли, Овчинников? – подумал Новиков, ускоряя шаги. – Что галдят под носом у немцев? Что у них?» – и приказал Алешину:

– Бегом! Базар устроили! У вас это?

– Не может быть! – ответил Алешин.

Бегом: они поднялись по пологому скату на высоту, и Новиков различил черные пятна орудий, повозок, лошадей,двигающиеся силуэты солдат, приглушенно скомандовал:

– Тихо-о! Что у вас тут? Командир взвода, ко мне!

Ругань и голоса стихли, неясные силуэты застыли возле орудий, и к Новикову, шумно дыша, подбежал весь пахнувший горячим, здоровым потом лейтенант Овчинников. Он коротко доложил о прибытии.

– Вы что, Овчинников? – тихо, сдерживая себя, спросил Новиков. – Батарею без единого выстрела хотите угробить? Впереди нейтралка, немцы рядом, вам это не ясно?

– Ничего не ясно! – прошептал Овчинников возбужденным от недавних команд голосом. – Ерундовина! Что, орудия на нейтралке мне ставить? Не перепутал Ремешков, товарищ капитан?

– Нет. А в чем дело?

– Минное поле тут немецкое за высотой, вот что! Орудия проскочили, а вот повозку на мину нанесло! – И Овчинников выругался. – Лошадь – вдребезги, хвоста не найдешь! Повозочного тяжело ранило. Ленка там с ним возится! Зна-

чит, мне на нейтралке стоять? Без пехоты? – спросил он, как бы не веря еще.

– Да, без пехоты. Алешин здесь, на высоте, с орудиями. А за высотой на нейтралке вы, Овчинников. Почему я должен повторять приказ?

– Думал, ошибся Ремешков, – странно потухнув, ответил Овчинников.

– Никто не ошибся. Занимайте позицию, и без шума, – повторил Новиков. – Где раненый? – И, не услышав, что ответил Овчинников, пошел по высоте, в сторону нейтральной полосы.

– Куда вы? На мины? – крикнул Овчинников и рванулся к Новикову. – Жизнь осточертела, товарищ капитан? Ленка там, и вы еще... Тут саперов вызвать...

– Саперы вызваны. Только они не разминируют, а минируют...

Новиков не договорил, голос Овчинникова срезало на крик: «Ло-жи-ись!» – и тотчас в тишине раздались отчетливый хлопок, легкое, все нарастающее шипение. Новиков спиной почувствовал, что случилось что-то позади, и, обернувшись, увидел: в белесо посветлевшем небе стремительно взвивалась мерцающая, разгорающаяся звезда, и такая же звезда неслась из глубины озера за высотой. Верхняя звезда рассыпалась над озером зеленым огнем, четко вычертив высоту, орудия, повозки, лошадей, фигуры солдат. И в те же секунды, пока ракета горела в небе, с конца озера, где должны

были стоять орудия Овчинникова, красными стрелами посыпались на высоту трассы. Очень близко – за нейтральной полосой гулко заработал пулемет. И снова взлетела ракета, немного правее, и оттуда тоже брызнули цепочки очередей по высоте.

– Повозки – в укрытие! – скомандовал Новиков, ясно понимая: немецкое боевое охранение заметило батарею.

Подбежав к сгрудившимся повозкам боепитания, он увидел, как солдаты, суматошно, суетясь, сгружают снаряженные ящики, а орудийные упряжки, грохоча передками, вскачь понеслись по высоте.

– Я приказал – в укрытие! – громко повторил команду Новиков, встретясь с лихорадочными глазами первого повозочного, тот со стоном нетерпения кидал ящики на землю, и договорил тише: – Батарея как на ладони! Вы это еще не поняли?

Над головой хлестнула очередь. Новиков нагнулся, а повозочный упал животом на ящик, прохрипел в землю:

– Товарищ капитан... Немцы-то совсем рядом... Целоваться можно. Мы ж не знали...

– Ма-арш! – приказал Новиков.

Эта последняя команда оторвала повозочного от земли. Боком упал на повозку, рванул вожжи, повозка покатила по скату высоты, стуча оставшимися снаряженными ящиками. Вокруг, озаренные ракетами, на рысях мчались мимо Новикова повозки, вслед им хлестали огненные струи пулеметных очередей. Бесперывно освещаемая высота опустела и

точно вымерла сразу. Два пулемета, стоявшие очень близко, вперекрест с перемещением били по ней, будто прочесывали каждую осеннюю травинку светящимися острыми зубьями гигантского гребня, и Новиков, услышав приближающиеся тукания пуль в землю, лег на траву. Он чувствовал, что немцы теперь не выпустят высоту из виду, будут прочесывать ее всю ночь – все это вдвойне осложняло дело, злило его. «Засечь батарею еще до боя!»

Пулеметы внезапно смолкли, одни ракеты, взлетая над озером, извивались щупальцами огней в воде.

Наконец ракеты сникли, темнота упала на высоту. Новиков встал и, уже не доверяя тишине, позвал вполголоса:

– Младший лейтенант Алешин!

– Здесь я.

Возле зашуршала трава, быстро подошел Алешин, забелело лицо в темноте.

– Вот джаз устроили!.. Два пулемета я засек. Под самым носом стоят. Дать по ним огонь? Чтоб заткнулись!

– Не говорите чепухи, – оборвал его Новиков. – Батарею не демаскировать. Окапываться в полнейшей тишине. За курение под суд. Все ясно? Раненые есть?

– Нет. Только один повозочный, Сужиков. На мину на-рвался. Лена с ним.

– Знаю. Я сейчас туда. За меня остаетесь.

– Слушаюсь, оставаться. – Алешин с сожалением задержал вздох, тут же нарочито бодрым голосом добавил: – Возь-

мите это, товарищ капитан, Леночке, – и уже неловко протянул Новикову две плитки шоколада. – Подкрепиться... а то они тут в карманах понатыканы, плюнуть негде!

Новиков молча сунул шоколад в карман, как бы не обратив внимания на неловкость Алешина. Он никогда раньше не замечал между младшим лейтенантом и Леной каких-то особых отношений, какие, казалось ему, были между ней и Овчинниковым. И то, что Алешин смутился, говоря «Леночке», было Новикову неприятно. Он не хотел, чтобы этот чистый мальчик – младший лейтенант, напускавший на себя взрослость, – попал под колдовство этой обманчиво непорочной Лены, знающей все, что можно только познать на войне, в вечном окружении огрубевших от военных неудобств мужчин.

Спускаясь по высоте в сторону нейтральной полосы, Новиков смотрел под ноги, стараясь угадать, где начиналось неизвестное минное поле. «Наскочили на немецкую мину?» – соображал он и в ту же минуту, сойдя в котловину, услышал предостерегающий голос:

– Кто там? Осторожней! – и сейчас же заметил справа от себя, возле кустов, темнеющее пятно.

Он подошел. Темное пятно справа оказалось разбитой, без передних колес повозкой, рядом возвышался круп убитой лошади. Лена, стоя на коленях, перевязывала тихо стонущего Сужикова, торопливо накладывала бинт.

– Сейчас, сейчас, – говорила Лена убеждающим шепотом.

том. – Ну, несколько минут... Сейчас повозка придет, и мы в медсанбат, в медсанбат... Еще немножко...

– Сильно его? – коротко спросил Новиков, наклоняясь.

Лена, тонкими пальцами завязывая бинт, вскинула голову. Новиков в упор встретил чернеющие ее глаза. Она сказала гневным голосом:

– Зачем вы еще здесь? Одного мало, да?

– Сужиков! – позвал Новиков и опустился на корточки перед раненым. – Что ж это ты, а? В конце войны... С Киева ведь вместе шли... Узнаешь меня?

Сужиков, пожилой солдат, воевавший в батарее Новикова с Днепра, лежал, запрокинув голову, напряженно округленные глаза глядели в небо; обросшее лицо было серо, узко, оно похудело сразу; с усилием перевел взгляд, узнал Новикова, губы беспомощно-жалко зашевелились:

– Случайно... Разве знал?... Вот обидно, – и крупные слезы медленно потекли по его щекам. – Обидно, обидно, – сквозь kloкочущий звук в горле повторял он. – Всю войну прошел – ни разу не раненый...

Новиков не мог успокоить Сужикова, он хорошо впал: если раненый чувствовал, что жить осталось недолго, то никогда не ошибался. Сужиков не говорил о смерти, но Новиков подумал, что война для него кончилась раньше, чем должна была кончиться, и именно это ощущение несправедливости болезненно кольнуло его.

– Не надо, Сужиков, не надо, милый, – заговорила Лена

ласково успокаивающим голосом, промокая бинтом слезы, застрявшие в щетине щек. – Вы будете жить, будете жить... Боль пройдет, еще немножко...

Новиков не мог терпеть тех ложных слов, какие говорят медсестры умирающим, и, испытывая неловкость огрубевшего к горю человека, подумал, что он, Новиков, не хотел бы, чтобы его ласково обманывали перед смертью, если суждено умереть: от этой последней ласки жизни не становилось легче.

– Не надо его успокаивать. Он все понимает. Прощай, Сужиков. Я тебя не забуду, – сказал он и легонько сжал худое плечо солдата. Встал и, услышав снизу слабый голос Сужикова: «Спасибо, товарищ капитан», – почувствовал острое неудобство от этой благодарности, подумал: «Вот еще один...»

Минут через десять прибыла санитарная повозка из медсанбата, и Сужикова увезли.

Они стояли рядом, Новиков и Лена, молчали. Она неожиданно повернулась к нему, почти касаясь его грудью, округло выступавшей под шинелью, заговорила:

– Я бы одна отправила его! Зачем пришли? Хотите героически погибнуть на mine? Кто вас звал? Это мое дело!

– Это мой солдат, – ответил Новиков. – Идемте к Овчинникову. Только осторожней, не петляйте по минам, шагайте рядом со мной. У меня, кажется, больше опыта. – И добавил: – Кстати, вам шоколад от Алешина.

– Какой шоколад? Что это вы? Здесь не детский сад.

Влажный блеск засветился в ее глазах, и он увидел, как то ли презрительно и ненавидяще, то ли жалко и беспомощно, как сейчас у Сужикова, задрожали ее губы. И она резко пошла вперед, по котловине, к озеру.

Новиков догнал ее.

– Стойте, – остановил сердито. – Я сказал вам: идите рядом со мной. Недоставало мне еще одного раненого. Слышите?

Она не ответила.

Два орудия батареи – взвод лейтенанта Овчинникова – были выдвинуты в сторону ничьей земли на двести метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина.

Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании – команды отдавались шепотом, люди двигались, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами.

При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении, звон пустых гильз, по которым, видимо, ходили они в своих окопах. Люди, замирая, приседали на огневой, не выпуская лопат из рук, глядели в темноту, на кусты, проступающие вдоль свинцовой полосы озера. Ожидали ракет, близкого стука пулемета, – казалось, слышно было, как немцем-пулеметчиком продергивалась железная лента.

Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели, командовал шепотом:

– А ну, шевелись, шевелись! Лягалов, вы чего? С лопатой обнимаетесь? Действуйте как молодой!

Он видел, как маслянисто светились во тьме белые спины раздевшихся до пояса солдат. Запах крепкого пота доходил

до него от работающих тел.

– О чем задумались, Лягалов? Жинку вспомнили? – снова спросил он, зорким кошачьим зрением вглядываясь в потемки, и нетерпеливо пошевелился на бруствере. – Ну, чего размышлялись? Жить надоело?

Замковый Лягалов, солдат уже в годах, с некрасивым, робким лицом, с толстыми губами, в постоянно сбитой поперек головы пилотке, стоял, обняв лопату, двумя руками держась за оттянутый подсумком ремень, бормотал усталым голосом:

– Передохну, товарищ лейтенант, маленько. Резь в животе. После немецких консервов... Я маленько...

– Врет, хрен его расчеши! – захихикал насмешливо злой наводчик Порохонько, подходя светлея в темноте тонким безволосым телом. – Графиню он польскую вспомнил, любовницу. Тут в замке одном... Як на марше зашли напиться в замок, бачим: графиня, руки белые, в кольцах... Шмяк на колени перед Лягаловым: «Я такая-сякая, капиталистка, туда-сюда, а от любви умираю, возьмите в жены, советской жолнеж, ум-мираю от сердца...»

– Отчепись, – смущенно и протяжно попросил Лягалов, по-прежнему держась за ремень. – Знобит меня, товарищ лейтенант... Разрешите? – И, потоптавшись неловко, полез с неуклюжестью пожилого человека наверх, осыпая ботинками землю, оглядываясь в сторону боевого охранения немцев.

– Насовсем убьет, гляди, – заметил Порохонько язвитель-

но и поплевал на ладони. – Графиню сиротой оставишь!

Сержант Сапрыкин, грузно-широкий, тяжело посапывая, ожесточенно долбя грунт, с укором сказал:

– Ну, чего прилип к человеку? Изводишь дружка ни с того ни с сего. Язык у тебя, Порохонько, болтает, а голова не соображает. – И миролюбиво вздохнул: – Верно, с животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов. Это бывает.

– У плохого солдата перед боем всегда понос! – беззлобно ответил Овчинников, вмял окурок в землю, стал снимать шинель. – До рассвета не окопаемся – нам крышка тут. До всех дошло?

Сапрыкин, глядя в темноту, произнес:

– Тут недалеко чехи, соседи наши, окапываются. Ребята хорошие. Давеча с одним разговаривал. Партизаны, говорит, восстание в Чехословакии подняли, наших ждут. Веселое время идет, ребятки! А ну нажимай, пота не жалея, все окупится!

– Это что – для агитации, парторг? Или так, Для приподнятая духа? – недоверчиво спросил Порохонько.

– Мне тебя агитировать – дороже плюнуть, орудией банник ты! – ответил Сапрыкин добродушно. – У тебя свой ум есть: раскидывай да уши востри куда полагается. Не ошибешься без агитации.

– Нажима-ай! – хрипло скомандовал Овчинников. – Разговоры прекратить!

Оставшись в гимнастерке, Овчинников с силой вдавил сапогом лезвие лопаты в твердый грунт, бесшумным рывком отбросил землю на бруствер. Все замолчали. То, что лейтенант взялся сам за работу, вдруг вызвало у солдат обостренно-тревожащее чувство. Все копали в напряженном безмолвии, лишь дышали тяжело, обливаясь разъедавшим тело потом.

Раз Сапрыкин, не рассчитав налившую все его массивное тело силу, со звоном ударил киркой по камню, и сейчас же раздались частые хлопки у немцев. Кроваво-красные ракеты встали, развернулись в небе, отчетливо залили обнажающим светом край озера, поле вокруг. И люди на огневой позиции ясно увидели друг друга, повернутые в одну сторону головы, розовые отблески в зрачках.

– Ложи-ись! – неистовым шепотом скомандовал Овчинников.

Пульсирующее пламя вырвалось на том берегу озера, огненные вихри сбили бруствер, взвились рикошетом в озаренное ракетами небо, впиваясь в звездную высоту.

Люди упали на огневой, прижимаясь разгоряченными телами к холодной земле, – мертвенный свет трасс бушевал над ними. В тот же миг на огневую суматошно скатился, придерживая галифе, Лягалов, бросился ничком, головой в бок лежавшему Овчинникову, странно давясь, икая.

– Не задело? – крикнул Овчинников и услышал сдавленный голос Лягалова:

– Ка-ак он хлестанет!.. Ну, думаю...

– Эх ты, поно-ос, – засмеялся шепотом Порохонько. – О графине подумал, икота началась на нервной почве...

Ракета упала и горела костром за бруствером, дымя, ослепляя, и хотелось Овчинникову горстью земли забросать ее брызгающий свет. Казалось, что бруствер не прикрывал их и все лежали на ровном месте, как голые.

– Вроде как житья не дадут, – спокойно сказал Сапрыкин.

– Заметили, фрицево отродье! Точно подзасекли, – мрачно проговорил лейтенант Овчинников и выматерился от удивления: разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов. Он вскочил на ноги, зашептав: – За лопаты, наж-жимай! Душу из всех вон!

Первым поднялся неуклюжий, будто виноватый, Лягалов, – суетливо поддегивая галифе, кинулся искать лопату, наткнулся на деловито встававшего с земли командира орудия Сапрыкина. Сапрыкин остановил его рассудительно:

– Потихоньку. С какой стати расшумелся, лак трактор? С какой стати? Голову гусеницей отдавишь! – и взялся за кирку.

– Это он герой, колхозный бухгалтер, – отозвался Порохонько. – Одно дело: то понос, то графиню прижимает, то головы отдавливает, ловка-ач! У него и фамилия такая – лягает по головам. Залез в кусты демаскировать.

– Зачем так, разве я виноват? – тихо, конфузливо спросил Лягалов. – Обижаеть ты меня. Легче тебе так?

– Я ж люблю тебя за ловкость.

– Прекратить разговоры! – скомандовал Овчинников вполголоса, и все стихло на огневой.

Подождав, лейтенант выпрямился, всматриваясь в темноту.

– Идет кто-то, – произнес он и, подойдя к краю огневой, окликнул: – Кто идет?

– Двое идут, – сказал шепотом Сапрыкин. – Может, чехи? И по минному полю... Вот славяне! Постой, кажись, комбат с санинструктором.

Овчинников хмуро выругался. Он не скрывал своего расположения к санинструктору, никто из солдат, уважавших Овчинникова за откровенность, простоту взаимоотношений, не мог осудить его. Однако то, что Лена была не одна, не понравилось ему, хотя точно знал, что между ней и Новиковым не было той приятной, с большим намерением игры, которую легко, казалось, удачливо начал истосковавшийся по женской любви Овчинников.

Подошли Лена и капитан Новиков, их фигуры черно проступали над бруствером среди темени ночи.

– Леночка, дайте руку. Упасть можно, – приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер. – Прошу вас, Леночка. Спасибо, что пришли.

Она протянула руку, узкую, влажную ладонь; и он особо значительно, сильно сжав ее своими грубо-сильными, в мозолях пальцами, помог сойти на позицию. Когда сходила она,

вес ее тела, упругие движения передались на руку Овчинникова, и, от этого задохнувшись, он почувствовал в доверчивом пожатии ее иной, обещающий смысл.

– Связь с Ладьей проложил? – спросил Новиков.

Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил:

– Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена... Всем продолжать работать. Возьмите мою лопату, Лягалов.

Новиков не удивился тому, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую, – хорошо, знал самолюбивого лейтенанта, тот не мог сидеть и ждать: окапывался всегда первым, первым докладывал о готовности огня.

Когда же влезли в свежевырытый глубокий блиндаж, сильно пахнувший сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, достали папиросы, Новиков, чиркая зажигалкой, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал:

– К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтобы тебя в упор не было видно.

– Знаю, – отрезал Овчинников, прикуривая.

Помолчали.

– Скажите, разве в дивизионе не знали, что здесь минное поле? – спросила Лена сердито, видя загоравшиеся огоньки двух папирос и улавливая от одного, особенно ярко вспыхивающего, пристальный взгляд Овчинникова, устремленный на нее.

– Дайте папиросу, заснули, товарищ лейтенант? – сказала она, обращаясь к Овчинникову, – этот сонный его взгляд раздражал ее.

Овчинников встрепенулся, папироса осветила его крючковатый нос, край худощавой щеки, вдруг произнес тяжелым голосом:

– Разведчики научили? Не идет курить вам. Я лично курящих девушек не уважаю. Духи, одеколон – другое дело. Для вас обещаю. После первого боя.

И, ревниво покосившись в сторону молчавшего Новикова, протянул ей папиросу, зажег спичку. Лена не без насмешливого вызова сказала, задув огонь:

– Спасибо. У меня есть прекрасные французские духи. Разведчики уже подарили. Но лучше бы вместо них побольше соломы в блиндаж. Разрешите, я распорядюсь, товарищ лейтенант?

И, отдернув плащ-палатку, вышла.

– Чего это она? – Овчинников уязвленно хмыкнул. – Хитрый, скажи, орешек! Эх, жена бы была, королева в постели! – добавил он преувеличенно откровенно и снисходительно. – Хороша, капитан!

Разговором этим, видимо, он хотел показать Новикову, что дела его с Леной зашли далеко, достигли того естественного положения сблизившихся людей, когда он может уже приказывать или тоном приказа советовать ей.

Однако Новиков сказал не то, что ожидал от него Овчин-

ников:

– Запомни, твои орудия примут первый удар. Шоссе – на твою ответственность. Но рассчитывай на круговой сектор обстрела.

– Знаю.

– Минные поля саперы разминировать не будут. Наоборот, саперы минируют котловину перед твоими орудиями. Вокруг тебя везде мины: и наши и немецкие. Если немцы двинут на тебя, они застрянут на этих полях. Ясно?

– Знаю, – мрачно ответил Овчинников, прикуривая от окурка новую папиросу.

Помолчав, Овчинников опять хмыкнул; думая о чем-то, затягиваясь и выдыхая дым.

– Ловушка, значит? – резко, недоверчиво произнес он, как будто для того только, чтобы возразить.

– Какая? – Новиков усмехнулся. – Просто воюем на нейтральной полосе. Пусть твои связисты свяжутся с саперами, те отметят проход к высоте в минных полях.

– Знаю! – снова отсек Овчинников.

Это хмурое «знаю» говорилось им обычно из тяжелого самолюбия, говорилось потому, что Новиков по годам был гораздо моложе его и, казалось, жизненно неопытнее, и лишь стечением обстоятельств, невезением объяснял Овчинников то, что не он, Овчинников, лейтенант в двадцать шесть лет, а слишком молодой Новиков командовал батареей.

– Что «знаю»? – миролюбиво спросил Новиков и по тону

Овчинникова снова почувствовал его превосходство над собой. – Действуй. И немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо! Желаю увидеть тебя живым!

Новиков встал, откинул висевшую над входом плащ-палатку.

Звездная, неестественно тихая ночь, со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав, влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.

– Молчат и ждут, – проговорил Новиков задумчиво. Потом спросил не оборачиваясь: – У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится? В Венгрии Второй Украинский вышел на Тиссу. В Югославии наши танки на окраине Белграда. Скоро конец...

Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа, во тьме только жарко разгорелся, подсвечивая его тонкие губы, огонек папиросы, ответил коротко:

– Нет.

Но этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и, порой задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойства о чем-то не доделанном им. Это подавляло его. Угнетало то, что не сделал он на войне нечто главное, что сделали другие.

– Нет! Не думал, – хмуро повторил он, и тотчас Новиков ответил полусерьезно:

– Ну и дурак! Ладно. Пошел.

В ходе сообщения, не отрытом еще полностью, он столкнулся с наводчиком Порохонько. Тот, взмокший, в телогрейке, надетой на голое тело, нес на спине ворох соломы, стянутой в узел плащ-палаткой. Спросил, крякнув, подбрасывая зашуршавший ворох на лопатках:

– Вы чи не вы приказали, товарищ капитан? Или разведка?..

Новиков сделал вид, что не понял намека.

– Приказ отдал я. Пора научиться жить на войне с относительным удобством. – И пошутил как будто: – Скоро будем спать на чистых простынях, Порохонько, я вам обещаю.

Порохонько протиснулся к землянке. Свалил со спины ворох и вдруг понимающе, сурово даже, оглянулся в темноту, поглотившую комбата. Первым признаком надвигавшегося боя (он знал это) была странная спокойная веселость Новикова.

Стояла полная предрассветная тишина. Немцы молчали.

За полчаса до рассвета Овчинникову доложили, что все готово: огневая отбыта в полный профиль, к высоте проложена связь, выставлены часовые.

Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, некоторое время лежал на соломе в блиндаже, окутанный мутной дремотой, как паутиной, а когда сел, от движения за-

болели мускулы на спине, спросил не окрепшим после сна голосом:

– А второе орудие? Доложили о готовности?

– Нет еще.

В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, шурились на свет. На снаряжном ящике в тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Стояли, дымясь, котелки, мясные консервы, огромная бутылка красного вина. Телефонист Гусев, наклоня стриженую голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшеничную кашу, дул, обжигаясь, на ложку.

Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав ее к груди, оттопырив локоть; не соразмеряя силу, так нажимал на нож, – казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящике, посоветовал с домовитым покоем в голосе:

– Поужинайте, товарищ лейтенант. С вином. Капитан Новиков прислал. Садитесь, ребятки.

– Есть не хочу.

Овчинников налил из бутылки полную кружку вязкого на вид вина, жадно выпил терпкую спиртовую жидкость, весь передернулся:

– Фу, дьявол, дрянь какая! Повидло прислал! А ну, Гусев, командира второго орудия старшего сержанта Ладью!

Гусев вытер поспешно губы – он, как ребенок, измазал их пшеничной кашей, – сорвал трубку с аппарата, подул в нее, как

на ложку, заговорил баском:

– Ладью, Ладью, давайте Ладью... Спите? А нам неясно, что вы делаете. – И, недоуменно пожав плечами, протянул трубку Овчинникову. – Он... музыку какую-то слушает... С ума посошли.

– Какая там еще музыка у тебя, Ладья? – лениво спросил Овчинников, услышав по проводу близкий, как бы щелкающий голос командира второго орудия. – Трофеи, может, виноваты? Как у вас там? Почему вовремя не докладываете? А если все в порядке, докладывать надо. Ладно, послушаем музыку. Какая еще музыка?

Встал, застегнул шинель на сильной, плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа:

– Лена где, у орудия?

И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа.

Был тот кристально тихий час ночи, когда переместились звезды в позеленевшем небе, прозрачно поредел воздух над безмолвной землей и особой, острой зябкостью влажного рассвета несло от темной травы на бруствере, от стен ходов сообщения, от мокро блестящих лопат в ровике.

Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию, оттуда донесся негромкий разговор. На станине неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Лягалова – на коленях железом отсвечивал автомат. Рядом на снарядном ящике сидела Лена, на плечи накинута плащ-палатка. Лягалов говорил, вздыхая, голос звучал сон-

но, ласково:

– Не женское это дело – война. Какое там! Мужчину убьют – это туда-сюда, его дело. А женщина – у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь, Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица, студентка... Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу! Нет, не могу! Двести бы раз вместо нее согласился воевать! А вы откуда сами-то? Учились где? Школьница небось?

– Я из Ленинграда, училась в медицинском институте. Вы сказали – фыркальщица? – спросила Лена. – А что это значит?

– Да такая, чуть что – фырк. И пошла... Я не говорю про вас.

Лена засмеялась тихим смехом, охотно засмеялся и Лягалов, поглаживая большой крестьянской рукой своей автомат, точно лаская его, спросил:

– А родители как у вас?

– Я одна, – сказала Лена. – Нет, лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела все сама. Нет, с ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз. И навсегда! Иначе нельзя жить.

Замолчали.

– Лягалов! – строго позвал Овчинников и мягко подошел к ним. – Идите отдыхайте! Я побуду здесь. Леночка, мне по-

говорить с вами необходимо.

Лягалов в нерешительности потоптался, с неуклюжестью заковылял от орудия, растерянно взглядывая на подвижно-темную фигуру Лены, исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь плеча Лены, вынул из кармана кожаный трофейный портсигар, предложил, игриво улыбаясь:

– Покурим, что ли, Леночка? В рукав...

– Не курю, Овчинников.

– Та-ак... Значит, мило шутили надо мной? Что ж, очень приятно, можно сказать, – проговорил он по-прежнему игриво-простодушно, однако, казалось, не без усилия владея голосом, и спросил еще: – Может, перед комбатом форсили?

Она сидела невнимательная, едва заметно хмурия брови, спросила:

– Ничего не слышите? – И повернулась в сторону озера. – Послушайте. Что там у них?

Овчинников не понял.

Низко и свинцово, подступая из темноты блеснул край озера. Серая, застывшая по-осеннему, уже затянутая туманцем вода не отражала высоких звезд, кусты на берегу, откуда всю ночь стреляли пулеметы, стояли затаенно, неподвижно. Тишина рассвета осторожно прижалась к холодеющей земле, к озеру. И тотчас Овчинников с тревогой и недоверием услышал, как сквозь узкую щель в земле, нежные, звенящие звуки саксофонов, drobный грохот барабанных па-

лочек, сентиментально-томный женский голос пел о чем-то томительно-незнакомом. Внезапно появилось такое чувство, будто там, у озера, приемник немцев поймал случайную, с другой планеты, музыку (которую слышали и возле орудия старшего сержанта Лады). Сразу возникшая мысль у Овчинникова о том, что у немцев не спали в эти самые крепкие часы сна, беспокойно и подозрительно насторожила его.

Он сидел несколько минут, прислушиваясь. Слева от орудия, очень далеко, за ущельем; в горах, мягко тронули тишину пулеметные очереди, витиеватым узором вплелись автоматные строчки и кругло ударили танковые выстрелы. В той стороне четвертые сутки шел бой в районе Ривн. Потом все смолкло. Сразу смолк и патефон у немцев. Безмолвие лежало там.

– Что вы, Леночка? – сказал Овчинников небрежно. – Обыкновенная обстановка. Вам-то что за забота? Seriously обещаю вам – прекрасные духи достану. Встречались – не брал. А вот эту штучку взял. Хороша? Хотите, подарю?

Откинул полу шинели, вынул из кармана нагретый теплом тела, игрушечно блестящий перламутром рукоятки маленький, в ладонь, пистолет, подбросил его на руке, сказал:

– Немка военная какая-то носила. Даже себя убить, должно быть, невозможно. И ранить нельзя, а так вещь, вроде игрушки. У вас оружия нет, возьмите...

– Ну-ка покажите.

Лена легко скинула влажно зашуршавшую плащ-палат-

ку, чтобы не сковывала движения, и будто разделась перед ним. Он увидел четко вырезанные среди свинцового свечения озера ее узкие плечи, тонкую шею; миндальный запах волос, как бы обещающий сокровенную близость гибкого, крепкого тела, коснулся Овчинникова при повороте ее головы.

– Дамский «вальтер», – услышал он голос Лены. – Это действительно игрушка.

Он смутно слышал ее голос, как сквозь воду, и только остро и ревниво мелькнувшая в его сознании мысль о том, что она хорошо знала то, чего не знали другие женщины, что она холодна и недоступна из-за его нерешительности, отозвалась в нем нетерпеливой дрожью, в прерывистом шепоте его:

– Как гвоздь вошли в сердце, Леночка. Клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам, никому не дам!..

И сильно, по-мужски опытно обнял ее, рука, уверенно лаская, скользнула от груди к тайно теплым, сжатым бедрам. Он так резко повернул ее к себе, до близости плотно прижал грудью, что она откинула голову, замотала головой. Он начал порывисто, колюче жадно целовать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стучаясь о стиснутые ее зубы.

– Леночка, Леночка...

Она упруго вырвалась, вскочила, ударила изо всей силы его по виску и еще раз ударила с перекошенным лицом, сказав страстно и зло:

– Дурак, глупец! Убирайся к черту! Иначе я не знаю, что

сделаю!..

Он сидел оглушенный, глядя одеревеневшую от ударов щеку, потом внезапно засмеялся удивленно, подставил лицо, дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа.

– Еще... ударь... еще!.. Сильней ударь!

Она шагнула к нему.

– Да, ударю!

– Товарищ лейтенант, к телефону вас. Немедленно! – слышался робкий голос Лягалова, и Лена и Овчинников оба одновременно увидели в посеревшем воздухе силуэт головы над ровиком.

– Кто еще там? Лягалов? Подсматривали? – гневно спросил Овчинников. – Я спрашиваю: подсматривали?

– Никак нет, – сдерживая зевоту, ответил Лягалов. – Живот у меня. По своей нужде вышел. Комбат вас... А я на пост встану.

Овчинников до странности быстро потух, лишь колючий подозрительный блеск горел в зрачках. Он косо взглянул на белеющее лицо Лены и, ссутулив плечи, сказал:

– Можешь идти спать к разведчикам. Иди. Мы им в подметки не годимся. Покажи им класс.

И мягкими, щупающими шагами двинулся к ровику, мимо Лягалова, вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на коленях. Овчинников схватил трубку, не остыв-

ший еще от возбуждения, проговорил:

– Второй у телефона!

– Почему не докладываете о проходе? – спросил голос Новикова. – С саперами связался? Что молчишь?

– За мою жизнь беспокоитесь? – произнес Овчинников, беспричинно злясь на этот спокойный голос Новикова (сидит себе в коттедже и водку пьет!). – Я приказ выполняю! Отсюда драпать не собираюсь! За меня не беспокойтесь! Именно за меня!

– Если прохода не будет, отдам под суд! – тихо и внятно сказал Новиков. – Именно за тебя я не беспокоюсь.

– А-а, куда угодно! Хоть под суд, хоть к дьяволу!

Он сидел на нарах, узколиций, с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы, – был похож на взъерошенную хищную птицу.

– Да тут чего порох рассыпать? Схожу я к саперам, обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант, я потопаю потихоньку...

Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклоняясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому партбилету отставшую фотокарточку: крупное лицо, мягкое, задумчиво-домашнее, слегка серебрились виски при слабом свете лампы.

– Вот наказание, скажи на милость. Отклеивается, и только! От сырости или поту? В какой карман класть? Вот шел-

ковую тряпочку от немецкого пороха достал. Годится?

Медлительно завернул партбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря покойно, будто слова взвешивая:

– Пошел я, товарищ лейтенант. А вам бы отдохнуть.

5

Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова в четвертом часу ночи.

Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями, здесь в раздумье постоял на высоте, взглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в двухстах метрах от немцев были поставлены на позицию орудия Овчинникова.

– Позиция дурная. Орудия как на ладони. Но лучшей нет. Как полагаете, капитан Новиков?

– Я полагаю, что немцы рядом, я приказал разговаривать шепотом, вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговариваете громко, как на свадьбе, – нестеснительно и прямо сказал Новиков. – Пулеметы уже пристреляли позицию.

Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной нательной рубашке, то в батарее он обычно приезжал по-уставному подтянутый, тщательно, до синевы выбритый, надевал шпоры, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом, с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько невозмутимо щелкнул кнутом по голенищу, сказал:

– Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-челове-

чески. Пока спокойно. В этой самой респектабельной вилле. Заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье.

– Я отдал уже приказ, – ответил Новиков. – Прошу в особняк.

...В их распоряжении было несколько часов. Сколько – они не знали.

Офицерам не спалось. Сидели на втором этаже особняка, плотно задернув шторы, из тонких хрустальных рюмок пили пахучий французский коньяк, много курили, мало закусывали – и не пьянели.

Дым слоями шевелился над зеленым абажуром керосиновой лампы. Тепло было. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты; в кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал, скошенный усталостью, связист Колокольчиков, сладко чмокая губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне:

– А ты к колодцу сходи... к колодцу...

Заряжающий Богатенков, только что сменявшийся на посту у орудий, сидел в нижней рубахе на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков высок, темноволок, атлетически сложен – движения сильных рабочих пальцев уверенны, бугры молодых мускулов напрягаются под рубахой, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво.

– Бывает же, товарищ капитан, – сказал он, обращаясь к Новикову. – В госпитале два месяца лежал – бомбежки снились, здесь, на передовой, – польнь, степь на зорьке, терриконики снятся, лампочки в забое. Проснешься – будто гудок на шахту. А к Колокольчикову вон... колодцы привязались.

– Ложитесь, – сказал Новиков. – Не теряйте минуты.

Майор Гулько, перекаtywая сигарету во рту, брезгливо морщась от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, не без отвращения говорил:

– Разгул цинизма в степени эн плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил. Разрушения. «Фотографии России»... Книга для немецких офицеров. Петин! – позвал он. – Эту сволочь – в уборную, в сортир! В сортир! – заключил он и, сердясь, швырнул книгу на колени сонно разомлевшему в кресле ординарцу.

Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу неправдоподобно большими руками, подумал и во всю ширину лица заулыбался:

– Куда ее, товарищ майор? Наждак!

Гулько зло фыркнул волосатым носом.

– Я, с позволения сказать, инженер, всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия, – отчетливо заговорил он. – И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах, распятия на деревьях, пепел городов, двуногое подобие человека с исступленной жаждой уничтожения, садизма, возведен-

ного в идеал. Вы что так смотрите, Новиков?

– Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами, – ответил Новиков.

– О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины! – проговорил Гулько, насупясь.

– Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому, – сказал Новиков. – От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча.

– Вон как? Весьма любопытно, – ворчливо произнес Гулько, косясь на затихшего за столом Алешина. – А вы, младший лейтенант? Что вы полагаете, мм?

Новиков отодвинул рюмку, вынул портсигар, звонко щелкнул крышкой.

– Он непосредственно подчиняется мне, значит, согласен со мной!

Алешин с независимым видом слушал, но после слов капитана смущенно заалел пятнами, неожиданно засмеялся тем естественным веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лене.

– Россия, – задумчиво проговорил Новиков. – Я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете, Витя, что такое Россия?

Оттого, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел влюбленно на лицо Новикова с щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые, мрачноватые глаза капитана, самого молодого капи-

тана в полку, этого полувзрослого-полумальчика; спросил:

– Что же! Выкладывайте...

Новиков не ответил.

– До России не достанешь. За Польшей она. Эх, километры! – проговорил Богатенков, укрываясь шинелью, натягивая ее на голову.

Новиков встал, привычным движением передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, беспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал:

– Ты к колодцу иди, к колодцу... Вода хо-олодная...

– Вот она, Россия, – тихо и серьезно сказал Новиков.

Осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудия Овчинникова. Подождал немного, стоя перед Колокольчиковым, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони, заговорил вполголоса, услышав Овчинникова, о минном поле, потом закончил твердо:

– Если прохода не будет, отдам под суд, – и положил трубку.

– Слушайте, Новиков, – проговорил майор Гулько, похлопав ладонью по стопке немецких журналов. – Вообще, сколько вам лет? Кто вы такой до войны – школьник, студент?

– Какое это имеет значение? – ответил Новиков. – Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона.

– Ну, время истекло, мне пора, – сказал Гулько. – Петин, лошадей!

Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно жавшие ему, и, не отрывая ласково погрузневших глаз от ручных часов, заговорил: – Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надейтесь.

– Не надеюсь, товарищ майор, – ответил Новиков и замолчал; видимо, Гулько знал то, чего не знал он.

– И прошу вас как можно меньше пить эту трофейную дрянь, – посоветовал Гулько и тихонько и нежно взял капитана под руку, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикова, сказал, почти шепотом, чтобы не слышал Алешин: – В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились. А у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру. Простите за философию. Война кончится. Все у вас впереди. Если, конечно, останетесь живы. Если останетесь...

И, пожав Новикову локоть, вышел, машинально нагнув в дверях худую спину, будто из низкой землянки выходил. С ненужным щегольством протренькали шпоры на лестнице, стихли внизу.

Сунув руки в карманы, Новиков прошелся по комнате, испытывая беспокойство, досаду: никто прежде не напоминал ему о его молодости, которую он скрывал, как слабость, и которой стеснялся здесь, на войне. Люди, подчинявшиеся ему,

были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека и давно уже свyksя с этим.

– Что это? – спросил Новиков, увидя под ногами чужие вещмешки. – Откуда тряпки?

– А это того... из медсанбата... мордача, – ответил Алешин.

– А-а, – неопределенно сказал Новиков и повторил вполголоса: – Что ж, и на войне есть добро. Добро и зло. Вы не изучали философию, Витя?

Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов, думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на раскрытые, по-летнему синие глаза его; они казались молодо и отчаянно прозрачны.

– Ну и везет вам, товарищ капитан! – весело, даже восхищенно воскликнул Алешин. – Просто чертовски везет!

Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрыл грудь шинелью, сказал:

– Так кажется, Витя. Не гасите свет. Почему везет?

Алешин отодвинул кресло, с наслаждением потянулся и, разбежавшись, словно ныряя в воду, бросился на свободную, туго заскрипевшую пружинами тахту и, лежа уже, стал расстегивать гимнастерку и одновременно – носком о каблук –

стаскивать сапоги.

Потом, кулаком подбивая пухлую, пахнущую свежей наволочкой подушку, сказал с ноткой мечтательности в голосе:

– Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет? Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием... Вас в академию. А я, черт!.. – Он вздохнул, приподнялся, по-детски подпер кулаком подбородок, белела круглая юная шея, каштановые волосы наивно-трогательно упали на лоб ему. – А я просто черт знает что, товарищ капитан. Серьезно. Орден Красной Звезды получил, вот медаль «За отвагу» – никак. – И договорил совсем уж доверительно: – А для меня самое дорогое из всех орденов – солдатская медаль «За отвагу». Серьезно! Вы не смейтесь!

– Добудете и медаль. Это не так сложно, – ответил Новиков и спросил: – Вас кто-нибудь ждет?.. Ну, мать, сестра, невеста?

– Мама... и Вика... ее звать Виктория, – не сразу ответил Алешин, и Новиков ясно представил, как он покраснел алыми пятнами.

– Очень хорошо, – сказал Новиков и после молчания снова спросил: – Скучаете по России, Витя?

За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве, Россия, как бы овеванная каким-то чувством радостной боли, которое никогда не проходило.

6

– Товарищ капитан! Товарищ капитан!..

Новиков стремительным рывком скинул с груди шинель: в сонное сознание ворвался звон разбитых стекол, то опадающий, то возникающий клекот снарядов, пронесившихся над крышей. Треск и грохот за стенами, зыбкие толчки пола, бледное, испуганное лицо Ремешкова, наклоненное к нему из полусумрака, мгновенно подняли его на ноги.

– Что?

– Товарищ капитан... Товарищ капитан!

– Что?

– Товарищ капитан... к орудиям! – захлебываясь, выговорил Ремешков и судорожно сглотнул. – Началось!.. Света не видать...

– Чего не видать? – Новиков раздраженно схватил ремень и кобуру с кресла. – Этот не видать, так, может, тот видно? Где Алешин? Почему сразу не разбудили?

– Младший лейтенант сказал, сам выяснит, пока не будить... Все у орудий...

– Эти мне сосунки! Командовать начали! – выругался Новиков.

Он уже не слушал, что говорил Ремешков. Затягивая на шинели ремень, перекидывая через плечо планшетку, окинул взглядом невыспавшихся глаз эту опустевшую, с разбро-

санными постелями комнату. Сквозь щели штор розово дымились полосы зари. На столе, среди дребезжащих пустых бутылок, консервных банок, бессильно дергаясь пламенем, чадила лампа. Атласные карты, съезжая от толчков по скатерти, ссыпались на ковер. Никого не было. Лишь в темном углу связист Колокольчиков, встретив взгляд Новикова, проговорил тонким голосом:

– Вас... Алешин к орудиям! А мне... куда?

– Туда, к орудиям!

На ходу надевая фуражку, Новиков ударом ноги распахнул дверь, сбежал по лестнице в нижний этаж, весь холодно освещенный зарей. Полувыбитые стекла янтарно горели в рамах, утренний ветер ходил по этажу, хлопая дверями, надувая портьеры. Путаясь в них, бегали тут двое пожилых, заспанных ездовых из хозвзвода, бестолково искали что-то. Увидев Новикова, затоптались, поворачиваясь к нему, застыли, по-нестроевому кинули руки к пилоткам.

– Что за беготня? – спросил Новиков. – Всем по местам! – И выбежал через террасу по скрипящему стеклу в мокрый от росы парк.

Повозки хозвзвода, покрытые брезентом, стояли под оголенными липами. Сверкала в складках брезента влага, желтели вороха листьев, занесенные на повозки взрывной волной. Лиловый дым, не рассеиваясь в сыром воздухе, висел над дорожкой аллеи, над багровой гладью водоема.

Новиков быстро шел, почти бежал по главной аллее к во-

ротам, смотрел сквозь ветви на высоту; трассы танковых болванок пролетали над ней, частые вспышки мин покрывали скаты.

Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева, в стороне города, и как бы сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа.

И Новиков понял – началось... Это должно было начаться.

Странная мысль о том, что началось слишком рано, что он не успел что-то доделать, продумать, скользнула в его сознании, но он никак не мог вспомнить, что именно.

Когда по рыжей траве, облитой из-за спины зарей, Новиков взбегал по скату, справа взвизгнула светящаяся струя пулеметной очереди, пролетела перед грудью. Новиков, удивленный, посмотрел и сразу увидел далеко правее ущелья, в красных полосах соснового леса, черные тела трех танков, будто горевших в золотистом Дыму.

«Что они, из ущелья вышли?» – мелькнуло у Новикова.

Ремешков упал, с одышкой пополз, припадая лицом к земле, вещевой мешок опять, как горб, колыхался на спине, и не то, что Ремешков упал и полз, а этот до отказа набитый чем-то мешок внезапно вызвал в Новикове злость.

– Опять с землей целуетесь? Опять дурацкий мешок?

Ремешков вскочил, невнятно бормоча что-то, оскальзываясь по мокрой траве, бросился за Новиковым на вершину

высоты. Здесь, на открытом месте, он чувствовал свое тело чудовищно огромным и пришел в себя только на огневой позиции, сел прямо на землю, как сквозь пелену различая лица людей, станины орудий, между станин открытые в ящиках снаряды, фигуру Новикова.

– Если в другой раз будете по-глупому заботиться обо мне, я вам этого не прощу! – услышал он громкий голос Новикова и заметил виновато-растерянное лицо младшего лейтенанта Алешина рядом с ним.

– Товарищ капитан! Овчинников у телефона, ждет команды! – крикнул кто-то.

– Передать орудиям: приготовиться, но огня не открывать! – скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, спрыгнул в ровик НП.

Все, кто был в ровике, – невыспавшиеся, с помятыми лицами разведчики и связисты – сидели на корточках вокруг толстого бумажного немецкого мешка, доставали оттуда галеты, сонно жевали и посмеивались. Увидев Новикова, заторопились, стали отряхивать крошки с шинелей; кто-то сказал:

– Кончай дурачиться, Богатенков!

Заряжающий первого орудия Богатенков сидел по-турецки на бруствере, спиной к Новикову, откусывал галету и, не оборачиваясь, говорил со спокойной веселостью:

– Меня, Горбачев, ни одна пуля не возьмет. Я ж шахтер. Земля меня защищает. Это ты рыбачок, так тебе вода... Всю

войну на передовой, в конце не убьет! Понял?

– А ну, слезь! Капитан пришел, слышишь, шахтер?

Командир отделения разведки старшина Горбачев, подбрасывая на ладони великолепный финский нож, блестя черно-золотистыми глазами, приветливо улыбнулся Новикову как бы одними густыми ресницами, толкнул плечом Богатенкова:

– А ну, слазь! – и, посмеиваясь, заговорил: – Смотрите, что фрицы делают... Крепкую заваривают кашу. Пожрать не дали. Тут еще пехота чехословацкая подошла, товарищ капитан. Впереди нас окапываются... Видели?

В расстегнутой на груди гимнастерке, небрежный, гибкий, стоял он перед пустым снарядным ящиком, доски глубоко были исколоты финкой, – видимо, только что показывал мастерство каспийского рыбака: положив на ящик руку, быстро втыкал финку меж раздвинутых пальцев.

– Цирк устроили? – строго спросил Новиков, хорошо зная хвастливый нрав Горбачева. – Богатенков, вы что? Судьбу испытываете? А ну вниз! Еще увижу, обоих под арест!

Богатенков повернул молодое, кареглазое, красивое ровной смуглотой лицо, при виде Новикова оробело крикнул, поспешно сполз в ровик и, так одергивая гимнастерку, что она натянулась на крепкой груди, забормотал:

– Да тут разговор всякий, товарищ капитан... Разрешите к орудию, товарищ капитан?

– Идите!

Старшина Горбачев, втокнув нож в чехол на ремне, вразвалку подошел к двум ручным пулеметам ДП на бруствере, щелкнул ладонью по дискам, сказал сожалеющим голосом:

– Эх, товарищ капитан, как же это Овчинников пулеметик забыл? Переправить бы надо.

– По места-ам! – скомандовал Новиков.

То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего не объяснило ему толком. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов; неслись над полем, перекрещиваясь, трассы; пулеметы, не смолкая, дробили воздух. Со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки.

Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в двухстах от огневых позиций Овчинникова. Стреляли они вправо от высоты, туда, где были врыты в обороне наши тяжелые танки пятого корпуса – правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно в первые секунды показалось Новикову: наши танки не отвечали пушкам огнем, их бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова три немецких танка. Теперь их не было – вошли в лес. И сейчас Новиков до отчетливости разглядел уже все. Левее леса из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый по-

ток танков, длинных тупорылых грузовиков, лилово сверкающих стеклами легковых машин, бронетранспортеров, людей; растекаясь, поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли три передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в трехстах метрах от разбитого моста, в минном поле, стояли орудия Овчинникова.

То, что левая колонна, вырываясь из ущелья, неудержимым валом валила по шоссе, стиснутая, прикрытая бронированной стеной танков, расчищающих проход к озеру, было понятно Новикову: навести переправу, прорваться в Чехословакию. Но удивило то, что правая колонна скатывалась из ущелья прямо по долине к лесу, в направлении восточной окраины города, подходы к которому были заняты нашими танками и истребительной артиллерией, – этого он не ожидал.

Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касно, ничего не видно было там, только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда – немцы атаквали и там.

И Новиков понял: немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнях группировке на севере

– к границе Чехословакии.

«Ах, так вот оно что!» – с чувством понятого им положения и даже с каким-то сладким облегчением подумал Новиков и подал команду:

– Приготовиться! Овчинникова к телефону!

С гулом, будто остановившись над высотой, треснул дальнобойный бризантный; из рваного облака, возникшего над орудием, ринулись осколки, зашлепали впереди ровика.

Старшина Горбачев, следя за передвижением левой колонны, окруженной танками, вроде бы улыбнулся одними трепещущими ресницами.

– Кончай ночевать! – и ногой задвинул мешок из-под галет в нишу, посмотрел на Новикова с заостренным ожиданием. Телефонист Колокольчиков, пригнувшись над аппаратом, непрерывно, осиплым тенорком вызывал орудия Овчинникова. Орудия не отвечали.

– Ну? Что? – поторопил телефониста Новиков. – Связь!

Он глядел на бурые навалы позиции Овчинникова, на кусты возле нее, густо усеянные разрывами. От кустов этих бежала зигзагами человеческая фигурка, падала, ползла, вставала и вновь бежала сюда, к высоте. Колонна, все вытекая из ущелья на шоссе, толстым потоком неудержимо катилась на орудия Овчинникова. И, тускло отсвечивая красным, первые танки в голове колонны ударили из пулеметов по этой одиноко бегущей фигурке, трассы веером мотнулись вокруг нее.

– Ну? – Новиков резко оторвался от стереотрубы. – Что

там, Колокольчиков? Быстрей!..

Тот моргнул растерянно-беспомощными глазами, сказал шепотом:

– Не отвечают... Связь порвана... Перебили. Я сейчас, я сейчас... по связи, – и, опустив трубку, начал медленно подыматься в окопе, зачем-то старательно отряхивая землю с рукавов шинели.

– Бросьте свою чистоплотность! – крикнул Новиков и, теряя терпение, указал в поле: – Вон там идут по связи от Овчинникова! Видите? Давайте навстречу, по линии! Чего ждете?

– Разрешите, товарищ капитан! Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу. – Покачивая плечами, придвинулся к нему Горбачев, жгуче-золотистые глаза его спокойно и вроде как бы не прекословя блестели Новикову в лицо. – Оставайся у аппарата, парнишка, – и оттолкнул связиста в ровик. – Куда он в мины полезет? Я здесь все как свои пять пальцев...

– Возьмите с собой Ремешкова, – приказал Новиков. – Возьмите его...

Колокольчиков, как будто ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было: он только что – в одну секунду – мысленно пережил весь путь от высоты до орудий Овчинникова.

Новиков, соразмеряя расстояние между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчин-

никову пора открывать огонь. Пора... Он думал: после того как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия, и на минном поле он, Новиков, откроет огонь с высоты вторым взводом Алешина – во фланг им, сбоку.

Не слышал он за спиной невнятного бормотания Ремешкова, вызванного от орудия Горбачевым. Всем телом как-то изогнувшись, неся ручной пулемет, выпрыгнул из окопа Горбачев, и вслед за ним выполз на животе Ремешков, елозя по брустверу ботинками, онемело открыв рот, и исчез, скатился по краю высоты вниз. Новиков поискал глазами человека, что бежал от Овчинникова, – маленькая фигурка распластанно лежала на поле, ткнувшись головой, разводя ногами, словно плыла, а струи пуль все неслись к ней, выбивая из земли пыль.

«Ну, огонь, огонь! Что там медлят? Пора! Открывай огонь, Овчинников!» – хотелось крикнуть Новикову, теперь уже не понимавшему, почему там медлят. Это был предел, после которого была гибель.

Почти в ту же минуту рваное пламя вырвалось из земли, где темнели огневые позиции Овчинникова, мелькнули синие точки трасс, впились в черную массу колонны. Будто короткие вспышки магния чиркнули там.

Одновременно с орудиями Овчинникова справа ударили иптаповские батареи, врытые в землю танки.

– Начал!.. – крикнул кто-то в окопе за спиной. – Начал!

Овчинников начал, товарищ капитан! Соседи начали!..

«Теперь только беглый огонь, только беглый, ни секунды промедления! Ни секунды! Давай, Овчинников!» – с отчаянным чувством азарта и облегчения подумал Новиков. Он увидел, как низко над землей снова остро вылетело пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и Новиков чувствовал сладкие привычные уколы в горле – знакомое возбуждение начавшегося боя.

– Товарищ капитан! Начинать? Товарищ капитан, начинать? – услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил.

Колонна, катившаяся по шоссе темной массой на орудия Овчинникова, замедлила движение, прикрывавшие ее танки с прерывистым ревом круто развернулись позади колонны, переваливаясь через шоссе, съехали на целину и, покачиваясь тяжело и рыхло, все увеличивая скорость, поползли к голове колонны. Там, обволакиваясь нефтяным дымом, горели три головных танка. Изгибаясь змейками, пульсировал в этой черноте огонь.

С чугунным гулом ползущие по целине танки, очевидно, издали засекли орудия Овчинникова. Высокие столбы земли выросли вокруг позиций. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле, длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетели оттуда, – Овчинников вел огонь.

Две приземистые, глянцевито-желтые легковые машины, что двигались в центре колонны под прикрытием четырех бронетранспортеров, ярко и розово сверкнув стеклами, плоскими жуками расползлись по шоссе, повернули на всей скорости назад, запрыгали на рытвинах, мчась по полю в сторону соснового урочища, к ущелью, откуда все вытекала колонна.

В середине колонны из крытых брезентом машин стали поспешно спрыгивать фигурки немцев, бросились в разные стороны, скачками побежали за танками – вся котловина засветилась автоматными трассами.

И Новиков, со злой досадой увидев, как умело ушли из-под огня офицерские легковые машины, видя, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно двигались к позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно... пора!..» – и лишь тогда посмотрел в сторону орудий Алешина, на сутуло замершие фигуры солдат.

– Внимание-е! – подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом. – По головным танкам – бронебойным, прицел постоянный. – Он сделал короткую паузу и выдохнул: – Ого-онь!

Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши. Новиков не расслышал команд Алешина на огневой – все звуки покрыл этот грохот.

Стремительные огни бронебойных снарядов мчались от высоты туда, в плотный жирный дым, затянувший орудия

Овчинникова, голову колонны и танки в котловине. Дым сносило к тускло-багровому озеру, он недвижно встал, скопился в кустах, как в чаше. В просветах возникали черные, низкие туловища танков: они как бы ускользали от броневой бойных трасс, и Новиков с отчаянной решимостью, незавершенной злостью, которая горела в нем сейчас к тем людям, что защищенно сидели в недрах танков, готовые убить его, и которых обязательно должен был убить он, крикнул:

– Наводить точнее! Точнее! Куда, к дьяволу, стреляете?

И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции.

Он увидел снующего возле орудия Алешина; напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова; широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова; бросилось в глаза: большие, влажные пятна под мышками у него, огромные, дрожащие от яркой спешки руки рывком бросали снаряд в дымящийся казенник. Орудие откатывалось после выстрелов, брусья выбивало из-под сошников.

– Сто-ой! – скомандовал Новиков, переводя дыхание. – Младший лейтенант Алешин! Бегом ко второму орудию! Быть там! Самому следить за наводкой! Бегом! А ну от панорамы, Степанов! – властно крикнул он наводчику, непонимающе вскинувшему к нему мокрое, тревожное лицо. – Быстро! – И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов.

Перекрестие прицела стремительно ползло по черноте дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплес-

ки огня, поймало, натолкнулось на темный бок танка. Он на миг вынырнул из дыма. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие.

– Ог-го-онь! – и коротко нажал ручной спуск.

Трасса скользнула наклонной молнией к танку, как бы уменьшаясь в дыму, врезалась в землю левее гусениц. Он ясно увидел впившийся огонек в землю. Довернул маховик – пот сразу облил лицо, ожег глаза, – поднял перекрестие.

– Огонь!

Тонкая молния ударила в тело танка, искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек – скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И, не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще-торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете дыма живое, шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте, башня косо развернулась, тоже выискивая, длинный ствол орудия дрогнул, застыл наведенно. Черный, пусто-круглый глаз дула зорко целился, казалось, остро глядел через панораму в зрачок Новикова, и в то же мгновение, считая секунды, он нажал спуск. Трасса досиня раскаленной проволокой выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте, и тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки, желтый удушьющий клубок сгоревшего тола вывалился из щита. И оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в четырех метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством

удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков глянул на расчет – все целы?

Заряжающий Богатенков со снарядом в руках стоял в рост среди стреляных гильз, не нагнув головы, с упорной пристальностью смотрел на танки, точно как тогда, на бруствере, испытывал судьбу.

– Что стоите? На коленях заряжать! – крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнув зубами: сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула. «Он или я?.. – мелькнуло у него в сознании. – Он или я?.. Не может быть, чтобы он! Он или...»

Новиков надавил спуск; слившись с выстрелом, два танковых снаряда ударили, взметнули землю впереди бруствера, на Новикова дохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвался от наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало, ничего не было, кроме этого танка, этого немца в нем, зорко-быстрыми движениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие... «Он или я?.. Он или я?..»

Танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени; одновременно с ним Новиков выстрелил два раза подряд; смутно унеслись вниз две трассы, фиолетово блеснули в дыму, и опять Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, отирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противоестественного состояния нервного на-

пряжения, когда все в мире сузилось, собралось лишь в глазке панорамы.

– Товарищ капитан, товарищ капитан! – бился позади чей-то крик. – Товарищ капитан...

– Ложи-и-ись!..

Крик этот, выделившийся из всех других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет; грубый, воющий скрежет шестиствольных минометов заколыхал воздух, обрушился на высоту, и чем-то огромным, душным накрыло, придавило задержавшееся орудие.

Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет – люди лежали в дыму между станинами, лицом вниз. И в первую же минуту сдавило горло, – показалось, что на огневую прямое попадание. Темная, неподвижная фигура Богатенкова, прижатая спиной к брустверу, выплыла из дыма в метре от Новикова, глаза закрыты, брови недоуменно нахмурены, рука его забыто придерживала на коленях снаряд.

– Богатенков!..

Богатенков приоткрыл глаза, особенно ясные, карие, изумленные чему-то, словно, не веря, прислушивался к самому себе. Не ответив на зов Новикова, он медленно отвел руку от снаряда, потом недоверчиво, наклоняя голову, пощупал живот, слабо развел пальцы и, со спокойно-хмурым удивлением глядя на измазанную кровью ладонь, сказал ти-

хо, сожалеюще и просто:

– Напрасно это меня...

И с тем же изумленным лицом, будто прислушиваясь к тому, что уже не могли слышать другие, повалился на бок, успокоенно и твердо прижался щекой к земле, что-то беззвучно шепча ей.

Снаряд скатился по ногам от последнего его движения, ударил по сапогам Новикова, и Новиков точно очнулся.

«Что это? Я не заметил, как его ранило? Это он звал меня „товарищ капитан“? Его был голос? Как это могло убить его, а не кого-нибудь другого, кто воевал и сделал меньше, чем он?..» И странно было, что нет уже живого дыхания, спокойной силы, смуглой красоты Богатенкова, а то, что называлось Богатенковым, было теперь не им – что-то непонятное, чужое, тихое лежало возле бруствера, прижимаясь к земле, и это чужое, казалось, уже сразу и навечно отделилось от всех, но никто еще не хотел верить этому. «Зачем он стоял в рост? Зачем? Верил, что его не убьют?»

– Перевязку! Быстро!..

Новиков крикнул это, понимая ненужность перевязки, и тотчас сквозь зубы подал другую команду: «К орудию!» – но скрежет, удары и треск, вновь покрывшие высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле – мины рассыпались вокруг огневой. И сейчас же все вскочили, поднятые вторичной командой Новикова, – он стоял на огневой, не пригибаясь, знал: так надо...

– К орудию! Степанов, заряжай!

И только сейчас все поняли, почему Степанов должен заряжать. Наводчик Степанов, вздрогнув широким, конопатым лицом доброго деревенского парня, растерянно озирался на тихо застывшего в неудобной позе Богатенкова, схватив снаряд, ожесточенно толкнул его в казенник, выговорил грудью:

– Насмерть! Товарищ капитан, «ванюши» по нас бьют! Это они!..

«Товарищ капитан... Это был его голос, Богатенкова... Что он хотел мне сказать?»

– А-а!.. – продохнул Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом взметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел: прямо оттуда, из колонны, шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту и на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.

– Осколочными! По колонне!..

Он выпустил более пятидесяти снарядов по колонне. Там закрутился смерч – разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов, несколько грузовых машин, дымясь брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немцев отбегали от шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов трех сразу осевших грузовиков, беспорядочный треск, разбросанное шелканье донесли отту-

да, – видимо, рвались боеприпасы.

– Снаряды! Снаряды!.. – раздался где-то в стороне, за спиной Новикова, крик. Но этот крик скользнул мимо его сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой, в той стороне, где были орудия Овчинникова.

«Что это там? Это он?»

Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь найти орудия Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудия, морозным холодом облило влажную спину Новикова. «Не может быть, чтобы он сделал это!» Но, не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбило орудия, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся, нетерпеливый, черный, страшный.

– Снаряд! Заряжай!

Степанов, грязно-потный, в размазанных пятнах гари, засучив по локоть рукава, один стоял на коленях среди груды гильз – широкое лицо растерянно, спекшиеся от пороха крупные губы силились улыбнуться Новикову и не улыбались – дергались уголки их судорожно.

– Товарищ капитан!.. Снаряды... – прохрипел Степанов. – Снаряды кончились. К передку расчет послал... За НЗ! И

заодно Богатенкова взяли.

– Кой дьявол... помогут передки! Там двадцать снарядов! – выругался Новиков. – Во взвод боепитания! Передайте мой приказ: все снаряды, что есть, сюда! Немедленно! Подождите! Вода есть у вас?

И, рванув скользкий от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы – жажда жгла его сухим огнем.

Степанов, торопясь, отцепил от ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову.

– Теплая только... – И, удержав дыхание, осторожно попросил: – Разрешите закурить на дорожку?

– Давай!

Тогда Степанов, вмиг обмякший, налитый усталостью – все время бросал снаряды в казенник орудия, – с красными от недавнего напряжения глазами, сел прямо на закопченные гильзы среди станин, одубелыми пальцами начал сворачивать самокрутку. Однако свернуть не смог – пальцы не гнулись. И тихим, застенчивым было у него лицо сейчас, когда смотрел он, как Новиков, запрокинув голову, жадно пил.

Но так он и не свернул самокрутку. Танковые снаряды вздыбили бруствер, и Степанов просыпал табак.

– Пойду я!.. – подымаясь, прокричал он, беспокожно глядя на озеро, буйно взлохмаченное фонтанами мин. – Эх, рыбы-то попортили – ужас! – И, подняв карабин, пригнувшись, не спеша двинулся по высоте в крутую тьму разрывов.

Новиков пил из фляги, не ощущая вкуса теплой воды; она лилась на шею, на грудь его, не охлаждая, не могла утолить жажду.

«Были взрывы... Овчинников подорвал орудия? Там танки? – думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи. – Но люди, как с людьми там?.. Не верю, что погибли все! Где Горбачев? Где Ремешков?»

– Когда будет связь? Почему так долго?

– Товарищ капитан, к телефону!

– Связь с Овчинниковым?

Новиков резким движением перемахнул через бруствер, прыгнул в ровик, почти вырвал трубку из рук связиста.

– Овчинников? – с надеждой спросил он, забыв в этот момент про номерное обозначение офицеров, и произнес живую фамилию. Но тотчас, в потрескиванье линии поймав голос майора Гулько, спрашивающего о потерях в батарее, он заговорил вдруг преувеличенно спокойным, сухим тоном: – Дайте огурцов. Беру последние огурцы для кухни, товарищ первый. Пришлите огурцов. Это все, что я прошу.

– Пришлю сколько есть. Дам огурцов, – выделяя слова, ответил Гулько и необычно, словно родственно был связан с Новиковым, добавил: – Обрати внимание на Овчинникова и на переправу, мой мальчик. Обрати внимание.

Он снова будто ударил Новикова своей ненужной интеллигентной нежностью.

Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудия Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полной вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки: железный, замирающий рев их, прерывистое завывание грузовых машин рождали у Новикова впечатление, что там сконцентрировалась ударная сила колонны. Остальная ее часть, не достигшая района озера, – отдельные разбросанные машины, орудийные упряжки, минометные установки на прицепах, группы людей – обтекала пылавшие обломки грузовиков на дороге, горящие танки, стремительно уходила, разворачивалась назад, к ущелью в лесу, откуда, – очевидно, по внезапному приказу, – перестал вытекать правый поток колонны. (Видно было, как горели там, справа, наши танки, врытые в землю.) И только двигался левый рукав колонны к озеру, по направлению молчавших орудий Овчинникова.

«Прорвались к озеру? Смяли Овчинникова?» – мелькнуло у Новикова, и он, чувствуя горячее нетерпение, повернулся к орудию:

– Где снаряды? Скоро снаряды?..

Почти слитный троекратный взрыв снова потряс высоту, аспидные шапки дыма упруго всплыли из месива огня возле позиции Овчинникова. И вслед мигнул горизонтальный всплеск выстрела. Опять мигнул. И Новиков понял: танки, продвигаясь к озеру, вошли в минное поле, подрывались там, и там живой взвод Овчинникова все еще вел огонь по

ним...

«Молодец Овчинников! Молодчина! – хотелось отчаянно крикнуть Новикову. – Молодец!...»

В то же мгновение скопище дыма растянулось над берегом, в просветах блеснула вода, и Новиков отчетливо увидел: озеро наполовину было замощено темными полосами понтонов, протянутых от левого и правого берега. Фигуры немцев бегали вокруг стоявших на берегу грузовых машин, снимали круглые тела понтонов. И стало ясно теперь: немцы обошли Овчинникова, прорвались к озеру.

– Второе орудие! Алешина! – не скомандовал, а скорее глазами приказал Новиков, и когда связист Колокольчиков вызвал второе орудие и когда зазвенел в трубке возбужденный голос Алешина: «Товарищ капитан! Четыре танка мои!» – Новиков оборвал его:

– Сколько на орудие снарядов?

– Одиннадцать! Сейчас подвезут еще!

– Посмотри внимательней на озеро. Видишь переправу?

– Вижу, товарищ капитан! – ответил Алешин и спросил быстро: – А как Овчинников?

– Наводить точнее, все одиннадцать снарядов по переправе, давай!

Снаряды Алешина подняли воду около понтонов, что-то смутное и длинное косо поднялось в воздух, упало в дым. Но две низкие грузовые машины не попятнулись, не отъехали от берега, стояли неподвижно. И фигуры немцев возились

возле них, упорно стягивая, волоча грузное тело понтона.

«У них один выход – будут прорываться до последнего! Один выход!» – подумал Новиков и крикнул связисту:

– Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда?

Телефонист Колокольчиков, весь хрупкий, беловолосый, светились капли пота на кончике вздернутого носа, дул в трубку, дергал с бессильным негодованием стержень заземления – делал все, что может делать связист в присутствии начальства, когда нет связи.

– Вот что! Делайте что угодно, хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через пять минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист! – сказал Новиков жестко. – Мне необходима связь! Зачем вы нужны, если там люди гибнут, а вы здесь стержень щупаете?

Жизнь человека на войне была для него тогда большой ценностью, когда эта жизнь не искала спасения за счет других, не хитрила, не увиливала, и хотя молоденький Колокольчиков не хитрил, а, лишь слабо надеясь, ждал, когда проложат связь телефонисты Овчинникова, жизнь его потеряла свою настоящую цену для Новикова, и Колокольчиков признавал это. Не сказав ни слова, приподнялся от аппарата, провел рукой по потному носу, расширяя вопросительные ясно-зеленые глаза, как бы навсегда вобравшие в себя мягкую зелень северных лесов, нестерпимую синь озер и весеннего неба.

Сразу с нескольких сторон ударили по высоте танки. Вслед за этим короткие слепящие всполохи вертикально выметнулись откуда-то из лесу, правее ущелья. Отрывисто, преодолевая железную одышку, закрипели шестиствольные минометы.

Все будто расплавилось в треске, в грохоте, высота стояла, ломалась, дрожала, выгибалась, как живое тело, ровик сдвинуло в сторону. Чернота с ревом падала на него. Новиков и связист упали рядом на дно окопа, дно ныряло под ними, уши забило жаркой ватой, голову чугунно налило огнем. Раскаленный осколками воздух проносился над ними. И навязчиво, неотступно билась мысль о непрочности человеческой жизни: «Сейчас, вот сейчас...»

– Неужели конец, товарищ капитан? А?.. Неужели? – не услышал, а угадал Новиков по серым губам Колокольчикова и увидел перед собой круглые, полные тоски и ужаса мальчишеские глаза. Этот ужас словно мерцал – мигали белые от пыли ресницы паренька.

И Новиков, оглушенный, туманно вспомнил ночь в роскошном особняке, майора Гулько, спящих солдат, Богатенкова, пришивающего крючок, и этого молоденького Колокольчикова, с неумелой нежностью обнимающего аппарат, и сонное бормотание о каком-то колодце: ему снились колодцы в конце войны...

И, подавляя жалость к той ночи, Новиков взял связиста за плечо, с силой потряс его, прокричал сквозь грохот, накры-

вавший ровик:

– Мне нужна связь с Овчинниковым! Понимаешь? Связь! Иначе нельзя! Понимаешь! Мне нужно знать обстановку!

– Я сейчас... я сейчас... глаза только вот запорошило... – зашевелились губы связиста, детское лицо было все серо от пыли, казалось незащищенным; он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, стал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-мальчишески виновато сказал: – Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету... сестра у меня... А адрес в кармашке тут...

И, худенький, встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез, растаял, оставив после себя впечатление чего-то чистого, весенне-зеленого (глаза, что ли?), легко и невесомо ходящего по земле.

И через минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк будто живого существа – призывно зазуммерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку, в ухо его пробился лихорадочно частивший голос:

– Я от третьего, я от четвертого, – и, мгновенно поняв, что это от третьего и четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым, он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного – остановить Колокольчикова, рванулся

к стене окопа.

– Колокольчиков! Наза-ад!.. Наза-ад!..

Но команду его заглушило, подавило пронзительно брызгающим визгом осколков, огненно скачущими разрывами мин, – ничего не было видно перед высотой, да и голос его уже не мог вернуть связиста. Новиков с тяжестью во всем теле – стояли перед глазами худенькие плечи Колокольчикова – присел подле аппарата, хватая трубку:

– Овчинников? Овчинников? Да что там замолчали, дьяволы? Что замолчали? Отвечайте!

– Овчинникова нет, товарищ второй, – зашелестел в мембране незнакомый голос. – Четвертое орудие погибло, и все там убитые. Нас окружили. У нас Сапрыкин раненый. Я связист Гусев, раненый. Еще Лягалов раненый. А с нами санинструктор. Я связист Гусев...

– Где Овчинников? – закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса. – Овчинникова! Слышите?

– Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое раненые – связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковый Лягалов. И еще санинструктор с нами, – однотонно шелестел бредовый, слабеющий голос, – а снарядов, говорят, ни одного нету... Пулемет только... Кончаю говорить... Я связист Гусев...

«Овчинникова нет, к вам пробивается!» Он ко мне пробивается? Зачем? Кто приказал ему? Он бросил орудия? – соображал Новиков. – Орудия Овчинникова не существуют?»

– Вы посмотрите, посмотрите, товарищ капитан, что там

творится, перед пехотными траншеями... Наши бегут, что ли?

«Кто это сказал? Разведчик, дежуривший у ручного пулемета? Да, это он – стоит в конце ровика, расставив локти на бруствере, смотрит туда...»

– Товарищ капитан, видите? Наши?..

И все же Новиков не верил, не мог поверить, что Овчинников отходил.

– Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли! – прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, размазывая пот на грязном лице. – Мы снаряды несли, так они по нас чесанули! Эх, жаль стереотрубу, – сказал он, беря пробитую осколками, лежавшую на земле стереотрубу, и хозяйственно, бережно положив ее на бруствер, спросил: – А как они там... живы?

– К оружию снаряды! – ответил Новиков.

– Овчинников! Товарищ капитан! Овчинников!.. – метнулся за спиной чей-то крик.

В ту же секунду на скате высоты выросли трое людей, без шинелей и пилоток, держа автоматы наперевес, они были метрах в пятнадцать от орудия, бежали, карабкались толчками, как слепые, на высоту – видимо, ни у кого не было уже сил.

И Новиков увидел Овчинникова: в обожженной распахнутой телогрейке, с темным, как земля, лицом, волосы слиплись на лбу, он зло махал пистолетом, крича сдавленным голосом:

– К орудию! Бего-ом! За мной!

И ненужная команда эта в нескольких метрах от орудия, приказывающий голос Овчинникова остро и жарко опалили Новикова – в горле сдавила, жгла металлическая горечь.

Они перескочили через бруствер, лейтенант Овчинников, Порохонько и Ремешков, задыхались хрипло – ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Порохонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел:

– Пи-ить, братцы, глоток воды!.. – и все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину, не было вещмеш-

ка, плечи ходили то вверх, то вниз, и он исступленно прижимал что-то под насквозь потной и грязной гимнастеркой, на выпукло-крепкой скуле кровоточила широкая ссадина, как от удара чем-то железным. Он бормотал взхлеб:

– А Горбачев, Горбачев где? За нами шел он... прикрывал нас... Где он?

Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, нетвердо стоял, пошатываясь на обессиленно дрожащих ногах, обросшие щеки за несколько часов глубоко ввалились, вся сильная, мускулистая фигура его ссутулилась, и сухим, диким блеском горели глаза.

– Прицелы, – прохрипел он и, ткнув в грудь Ремешкова зажатым в словно околоченных пальцах пистолетом, подрубленно опустил на станину орудия, сжал голову руками.

– Орудие Ладьи с расчетом погибло. Танки... – негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами. – Туча танков, бронетранспортеров... шли напролом, стеной... окружили нас... Расчет Сапрыкина стоял до последнего... четверо убитых, трое раненых... там они... там, – повторил он и, зажмурясь так, что оттененные синевой веки его нервически задергались, выкрикнул с неистовством:

– Прицелы! Прицелы сюда, Ремешков!

Новиков шагнул к Овчинникову, за подбородок поднял его голову, очень медленно сказал:

– Мне прицелы твои не нужны, – и спросил без намека на

жалость: – Контужен?

– Вот здесь, – выговорил Овчинников, закрыв глаза, потирая под изодранной пулями телогрейкой левую часть груди. – Вот здесь крыса грызет, лапками копошится, раздирает... от виденной крови... Я все сделал, все... Понимаешь, Дима.

Он назвал Новикова по имени.

– Нет, – неверяще ответил Новиков. – Не понимаю. Где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?

Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе: то, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру. До последней минуты не мог согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще...

– Так вон ка-ак, – опадающим голосом, вдруг произнес Овчинников и открыл глаза, в упор встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова. – Вон ка-ак? Арестуешь? Под суд отдашь? На, бери! Я готов! Я на все готов. Я десять танков сжег... а это не в счет! Не в сче-ет?..

С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себе офицерский пояс, стараясь расстегнуть его, потянулся к погонам под телогрейкой.

– Отдавай под суд!.. Отдавай!

– Прекрати истерику! Встань! – тихо приказал Новиков и, когда Овчинников, как-то ослабнув, встал, весь растерзанный, опустошенный бессмысленным взрывом ярости, он

опять приказал: – Подыми пистолет. Вон там, за ровиком, землянка. Даю тебе час. Выспись. Приди в себя. Марш!

– Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они? А? – послышался сзади голос Степанова.

– Что там?

Нежаркое осеннее солнце поднялось в скопившейся хмари над грядой Карпат. Жидкие, косые полосы его лились в котловину, гремевшую боем. Она светилась автоматными трассами, вспышками выстрелов, густым пламенем горевших танков. Столбы разрывов сплошной стеной вырастали и там, где была позиция Овчинникова, и там, на блестящем озере, где наводили переправу немцы: вела огонь наша артиллерия из города. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, к ущелью. Они отходили – это было ясно Новикову. Может быть, утро мешало им. И внезапно там, со стороны орудий Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков. И Новиков с дрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова – землистая серость покрыла тиком дергавшееся лицо лейтенанта.

– Горба-ачев?! – прошептал Овчинников. – Вернулся?

Он дикими глазами взглянул на Новикова и, тогда окончательно поняв все, рванулся, гибко, по-кошачьи перескочил через бруствер, огромными, нечеловеческими скачками побежал вниз по скату в сторону орудий; неистовыми крыльями

ми бились на ветру, мотались прожженные полы его распахнутой телогрейки.

– Наза-ад! Наза-ад! – закричал Новиков, бросаясь к брустверу. – Наза-ад! Овчинников!

Овчинников, не пригибаясь, в рост уже бежал по полю, миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям.

Низкая автоматная очередь огненной струей полоснула по нему сбоку, затем спереди и слева, но он не изменил направления, даже голову не пригнул – видно было, как, цепляясь за кусты, карабкался по скату котловины к возвышенности, там в коричневом тумане темнели силуэты танков.

Он выбежал на возвышенность, на мгновение отчетливо видимый на голом месте, и тотчас справа, из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь, другой огонь взорвался под ногами Овчинникова.

Он, сделав еще два шага, заваливаясь назад, упал на колени, замедленным жестом провел ладонью по голове, будто приглаживая волосы, и плоско упал грудью на то самое место, огнем пыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед. И неожиданно для Новикова, до физической боли стиснувшего зубы, распластанное тело Овчинникова задвигалось, извиваясь, поползло по возвышенности к кустам, к тому невидимому орудию, которое только что стреляло.

Двое людей в зеленом вышли справа из кустов, огляделись и, пригибаясь, зашагали к Овчинникову. Потом огнен-

ная точка коротко сверкнула там: это был выстрел из пистолета. Двое в зеленом одновременно легли. Один из них при-
встал, неприцельно пустил очередь над головой Овчиннико-
ва, и тот снова выстрелил три раза.

– У пулемета! – Новиков с бешенством спрыгнул в ровик
и кинулся к ручному пулемету, за которым, горбато согнув
спину, стоял разведчик, вжимаясь щекой в ложу.

Ринувшись на бруствер, упав на пего грудью возле развед-
чика, Новиков крикнул:

– Видишь фрицев? Отсекай их! Кор-роткими! Давай!

– Живым хотят взять. Ясно... – сквозь зубы сказал раз-
ведчик, и плечо его затряслось от дрожи пулемета.

Фонтанчики пыли взбились, замельтешили справа и вы-
ше немцев, перешли, заплясали на узком пространстве, от-
делявшем Овчинникова от них. Крупные капли пота высту-
пили, выдавились на медно-красном напрягшемся лице раз-
ведчика. Диск кончился. Ударом выщелкнув его из зажимов,
разведчик поспешно схватил новый диск, завозился с ним,
никак не мог вставить в пулемет – руки тряслись. С приды-
ханием выговорил:

– А если убью лейтенанта?.. Товарищ капитан, если
убью...

– От пулемета, – шепотом, едва слышно сказал Новиков,
ударил по диску, припал к пулеметной ложе, горячей, мок-
рой от ладоней разведчика, и выпустил две короткие очере-
ди по отползавшим в кусты немцам и не поверил тому, что

увидел.

Овчинников медленно, живуче вставал, опираясь руками о землю; встал, пошатываясь, в распахнутой телогрейке и, клоня голову, сжав пистолет в опущенной руке, толчками пошел влево, к кустам, где было орудие. Двое немцев выскочили из кустов наперерез ему. И фигурой своей он надвинулся, загородил их. Немцы по нему не стреляли.

«Что это? Зачем? Что там?» – скользнуло с обжигающей болью в сознании Новикова, отдернувшею палец от спускового крючка. И в ту же минуту, поняв, почему не стреляли по Овчинникову немцы («Да, да, хотели взять живым, им нужен „язык“!»), он, еще не веря, что делает («Зачем? Я не имею права! Не имею!...»), нажал спусковой крючок – весь диск вылетел одной длинной строчкой.

Когда же он, придя в себя и как бы все видя через желтый песок в глазах, отпрянул от пулемета, ни немцев, ни Овчинникова около кустов не было. Никого не было...

Он зачем-то посмотрел на ручные часы и так, глядя на них, опустился на дно окопа, возле безмолвно глядевшего на него связиста. Потом туманно увидел что-то отвратительно длинное, белесое, ползущее по рукаву связиста, никак не мог вспомнить: «Что это? Мокрица?» – и хотел сказать, чтобы тот стряхнул ее, вызвал орудие Овчинникова, но лишь странный, захлебнувшийся звук вырвался из его горла.

Тогда он встал, двинулся к землянке, вырытой вплотную с огневой, перед входом обернулся ненужно, незащищенно,

сказал с трудом:

– В горле что-то застряло... Воды бы... Орудие вызовите.
И вошел в землянку.

Когда минуты через две Новиков вышел, он казался спокойным, умытое лицо было бледно, сразу осунулось. Снова сел к аппарату, взял трубку, которую, чудилось, испуганно протягивал ему связист, сказал хрипло:

– Гусев? Доложите обстановку...

– Ошибочка, я на связи, товарищ второй...

Ему отвечал не Гусев, а старшина Горбачев, и обычен был его голос, как всегда, самоуверенный, и, как всегда, слегка небрежно звучали его усмешливые нотки. Да, он здесь, Горбачев, цел, двигает руками и ногами, да, рядом сидит красивенький санинструктор, а остальные тут без пяти минут от бога, и вообще людей ноль целых хрен десятых, танки покалечили, вроде бог черепаху, снарядов не густо, пять штук, но целиться через ствол и лупасить по фрицам можно, передайте Овчинникову, что можно...

И хотя он докладывал, словно посмеиваясь над тем, над чем нельзя было смеяться, Новиков в эту минуту не осудил его, а наоборот, оттого что Горбачев был там, возле орудия, жил и смеялся, волна горькой нежности толкнулась в его сердце. Знал: в том состоянии, в котором находился Горбачев, позволено многое, как глоток воды перед смертью.

– Держитесь до вечера, – негромко проговорил Новиков, ничего не сказав об Овчинникове. – Потерпите. Вечером мы

придем.

«Убил я его или не убил? – опять мучительно подумал Новиков. – Если убил, то имел ли я право распоряжаться его жизнью? Кто мне дал это право? Но если бы я был на месте Овчинникова, дал бы я право другому человеку застрелить меня?» И как-то легко и спокойно ответил сам за себя: «Да, дал бы... Но можно ли по себе мерить всех людей?»

Солдаты смотрели на него и молчали. Разведчик с хмурым лицом заправлял патроны в диски пулемета. И Новиков почувствовал: то, что он сделал сейчас, как будто ото всех отделило его, хотя он с какой-то особой определенностью и сознавал, что люди поняли – он распоряжается их жизнью, судьбой во имя чего-то неизмеримо огромного, того, что знал, чувствовал сам Новиков и все, кто был рядом с ним.

Новиков молча прошел к оружию.

Степанов робко улыбнулся ему своим добродушным круглым лицом; сворачивая сигарку, просыпал табак на колени, стал почему-то смахивать крошки локтем.

Порохонько лежал на огневой позиции, вытянув длинное тело, сквозь гимнастерку белой солью проступал пот на его худых лопатках. Он вспоминающе рассматривал забытый здесь офицерский потертый планшет Овчинникова, колючие выгоревшие брови двигались то вверх, то вниз, точно глаза чесались.

– Вот оно... – произнес он. – До Карпат дошел...

Ремешков сидел на снаряжном ящике, где поблескивали две принесенные им от орудий панорамы, грязным носовым платком промокал кровоточащую ссадину на крепкой скуле, говорил с недоумением и тоской:

– А я бегу и вижу перед высотой – лежит этот связист Колокольчиков на боку, колени поджаты калачиком. Ну спит – и все. Тронул я его. А он – мертвый. В руках провод зажат. Ребенок... а глаза зеленые-зеленые. Эх, кто-нибудь и любил, должно, глаза-то его... Не поймешь – одних убило уже, а мы живы...

– И у Лягалова глаза зеленые, – шепотом проговорил Порохонько.

– Встаньте с земли, – тихо сказал Новиков, обращаясь к Порохонько. – Простудитесь. В госпиталь попадете.

8

Его вели по полю, изрытому воронками, мимо догоравших танков к лесу. Он спотыкался, ступая на задетую осколком ногу, боль морозила его, обжигая, расплзалась от предплечья руки к онемевшим пальцам. Он придерживал кисть левой руки, при каждом шаге чувствовал, как рот наполнялся соленой влагой, и сплевывал жидкую кровь, не понимая, куда и зачем его ведут и почему торопят его.

Он понимал одно: непоправимое случилось. Жизнь, имевшая прежде тысячи выходов, мгновенно закрыла рею, кроме единственного – смерть...

Он не верил в это, когда бежал к орудиям, когда лежал перед танками, когда люди, прижимая локтями автоматы, вышли из кустов, когда он стрелял в них. Он не верил в это непоправимое и безвыходное даже тогда, когда у него кончились патроны. Тогда слева, сзади, впереди была своя земля со своими людьми, со своими орудиями. Он плохо сознавал, как они взяли его. Была боль в голове, в груди, во всем теле, была его собственная кровь, которую он сплевывал и видел.

– Halt, рус, Еван! На-alt!

Ствол автомата остро и грубо ткнул его в левую лопатку, эта новая боль обожгла его, и он, еще лихорадочно цепляясь за надежду, еще сопротивляясь этой боли, подумал: «В рану целит, в рану? Лучше бы в здоровую. В плену ведь я...» Но,

тотчас, осознав, что теперь он не был хозяином своей жизни, даже своих страданий, подумал другое: «Жалости хочу? Мягкости? Какой жалости?..»

– На-alt!

Дуло автомата твердо уперлось в его левое предплечье, раскаленным сверлом ввернулось в кость. Овчинников стиснул рукой левую кисть, остановился пошатываясь. Кривая усмешкой окровавленные, распухшие губы, оглянулся на конвоира. Был это молодой высокий немец, желтоволосый, лет двадцати, с худощавым бледным лицом, смотрел на него пристально, желваки играли на втянутых щеках. На немце этом был зеленый пятнистый маскхалат, штаны заправлены в сапоги, из раструбов голенищ рогами торчали автоматные магазины. Через плечо висела сумка Овчинникова. Лицо немца передернулось: держа в правой руке автомат, он поднял левую руку и сделал резкий жест в воздухе, словно сдирая застывшую усмешку с губ Овчинникова.

Повернулся чуть боком, расставил ноги, искоса следя за Овчинниковым, расстегнул маскхалат. Овчинников понял и отвернулся. Брызги летели на его сапоги. Он непроизвольно сделал шаг вперед, надавил на раненую ногу и тут же подумал: «Для чего? А не все ли равно?»

– На-alt! – и сзади услышал громкий молодой смех – не догадался сразу, что смеялся немец.

Застегивая маскхалат, немец подошел, лицо уже не было злым, посмотрел на забрызганные сапоги Овчинникова,

снова засмеялся, махнул рукой, провел пальцем по здоровой своей шее.

– Кап-пут, лейтенант! Капут!

И оттого, что он говорил эти слова, не злым, а равнодушным человеческим голосом, оттого, что он, оправляясь, не стеснялся Овчинникова, как мертвеца, и рассмеялся, видя его стеснение, – все подтвердило то, что думал, знал Овчинников.

«Не может быть, чтобы я через час или два умер. Чтобы меня не стало совсем. Так просто? Так просто?» – отчаянно соображал, весь уже охолонутый мыслью, Овчинников и, опять ощутив боль в ноге, вдруг с обнажающей ясностью почувствовал, что это последние его шаги по земле, последние мысли, последняя боль, последняя кровь во рту, и почему-то подумал еще, что двадцать шесть лет никогда не сменятся двадцатью семью годами, что не будет именно его, Сергея Овчинникова, когда другие будут еще жить, смеяться, обнимать женщин, дышать...

И то, что его убьют не так, как убивают других на войне, что не будет известно, как он погиб, при каких обстоятельствах, вызывало в нем чувство черной тоски, изжигающей до слез. Его судьба по какому-то закону внезапно отделилась от тысяч других судеб, оставшихся там, за этим дымом. Неужели именно он, Овчинников, должен был умереть? Должен умереть?

– Schneller! – чужой крик за спиной.

Ствол автомата сверлом врезался в раненое предплечье. От боли, от этой команды он даже застонал, понял, что это «schneller» все убыстряло его путь к смерти, и неожиданно, сопротивляясь себе, своей послушности чужому голосу, будто вмиг, налился огнем бешенства – оглянулся резко, хищно, как бы готовый броситься разом, выбить автомат у этого немца... «Кто взял меня? Птенец! Лет двадцать ему...» Но тут же, скрипнув зубами, задохнулся, едва сдерживая слезы. Выплюнул кровь. Не было силы твердо и прочно ступить на раненую ногу, поднять руку. Тело его потеряло гибкую, мускулистую тяжесть, невесомым каким-то стало.

«Неужто не могу? Неужто? – как в бреду, спрашивал себя Овчинников и зло застонал сквозь зубы. – Неужто? Неужто? Значит, конец?»

Он смотрел на немца глазами, налитыми сухим, болезненным блеском, сплевывая одеревевшими губами тягучую кровь; и ему хотелось сесть от смертельной усталости, упасть на землю, отдышаться.

Ствол автомата подтолкнул его, и снова крик:
– Schneller, schneller!

Миновали мазутный дым горевших танков, обломки разбитых грузовых машин на дороге. Потом вошли в лес. Зашуршала жухлая трава, скипидарно запахла она, облитая бензином. И Овчинников вблизи увидел набитый людьми, машинами и фургонами лес – не тот лес, солнечный, чистый, свежий, с парной духотой опутанного паутиной ельника, с

сухим запахом дуба, какой видел в детстве на Урале, а другой – умирающий, осенний, желтый, заваленный поблекшими листьями, с ободранными осколками снарядов соснами, зияющий черными воронками на опушке, такой лес он видел сотни раз; но такой почему-то не оставался в его памяти.

Немцы в расстегнутых френчах повсюду окапывались на опушке, шуршала выбрасываемая из окопов земля, раздавались незнакомо чужие команды. Танки, тяжело лязгая гусеницами, пятась, вползали в кусты, под тень деревьев; открывались башни, из люков машин, устало переговариваясь, вылезали танкисты, стягивали шлемы. Мимо – вдоль опушки – прошел тупоносый бронетранспортер, вдавливая листья в колеи. Солдаты в касках – у всех изможденные, небритые лица воскового оттенка – злобно или равнодушно смотрели на Овчинникова следящими глазами. Один, пожилой, с мясистым подбородком, до сизости набрякший багровостью, жадно сосал сигарету, внезапно перегнулся через борт толстым телом, выхватил сигарету изо рта, швырнул в Овчинникова, крикнул ломано:

– Рус Еван, плен пихт! – и издал звук языком, точно кость ломал.

Мокрый окурок попал в щеку Овчинникова, но не обжег его, только пеплом осыпал. Он вздрогнул, вытер щеку, его затрясло от бессилия и унижения. Вскинул голову, затравленно озираясь. Жизнь его, имевшая ценность еще час назад, стоила теперь не дороже втопанного в землю листа. Ви-

дел он, немцы отходили в лес, бой затихал, а он в эти минуты единственный пленный – не солдат, а офицер, – он, Овчинников, которого они, по-видимому, боялись, когда был он возле орудий, сейчас шел здесь по чужому лесу, под этими чужими, унижающими его или равнодушными взглядами, шел, утратив силу и ценность в глазах тех, кого он ненавидел...

– Куда идем?

Он приостановился, ссутулясь, покачнулся к немцу, упрямо нагнув шею. И тот, встретив глаза его, поднял белесые брови, произнес удивленно и кратко: «О!» Худощавое, мальчишески бледное, узкое книзу лицо стало беспощадным, жестким, готовым на все. На голову выше Овчинникова, он шагнул к нему, с точной силой ткнул дулом автомата в щеку. Этим ударом поворачивая его голову, скомандовал ожесточенно:

– Vorwärts!

А он стоял, дрожа от бессилия, не двигаясь, не выплюнул, а трудно сглотнул наполнившую рот кровь, сипло выговорил:

– Если бы не рука, я б тебя, фрицевская сволочь, одним ударом сломал... если бы не рука... – и выругался страшным, диким ругательством.

– Was ist das твою матку? – крикнул немец, выкатив молодые, в коровьих ресницах глаза, и, напрягая вену на бледной, с острым кадыком шее, звонко скомандовал в лицо ему: – Vorwärts! – и озлобленно замахнулся автоматом.

– Что ж... пойдём, сволочь, – как-то согласно проговорил Овчинников и, спотыкаясь, зашагал быстрее по этой земле, по осенним листьям к своему концу.

Его привели на поляну в глубине леса. Бронетранспортеры, крытые штабные машины камуфляжной окраски стояли под соснами, в пятнистой тени. Люди в черном бесшумно ходили там. Посреди поляны зеленым лаком блестела приземистая легковая машина с открытыми дверцами, запыленными стеклами. Вокруг нее солнечные косяки лежали на желтой траве, все здесь было обогрето теплым днем: и эта трава, и машины, и сосны, но от этого непривычно мирного тепла и покоя нервный озноб все сильнее охватывал Овчинникова.

Маленький, сухонький человек в черном плаще, в высокой фуражке, крутой козырек знойно сиял на солнце – лицо в тени, – сидел близ легковой машины на раскладном стуле перед низким раскладным столом, положив на него белую руку. Закинув ногу на ногу, он рассеянно слушал женственно-стройного немца, почтительно склонившегося к нему тонким, красивым лицом.

На краю поляны немца-разведчика, как определил Овчинников, окликнули люди в черном. Немец, вытянувшись, прижав ладони к бедрам и растопырив локти, что-то четко доложил им. Он разобрал выделенное слово – «лейтенант». Один из людей в черном, этот самый, красивый, с женствен-

ной талией, брезгливо взял у разведчика сумку, скомандовал Овчинникову знакомое «форвертс», и после этой команды немец-разведчик, сделав непроницаемым лицо, щелкнул каблуками, повернулся круто, зашагал по дороге в лес, откуда пришли они, и Овчинников угадал, что его передали в другие руки – в руки людей в черном.

Двое немцев подвели его к легковой машине. Теперь знал он, зачем привели его сюда и почему прежде не убил его разведчик.

Он остановился, вызывающе расставив ноги, с кривой усмешкой, уже не придерживая раненую руку, не сплевывая кровь, заполнявшую рот.

Он готов был к тому, что его будут унижать, причинять боль, страдания, и единственное, чем мог защититься он, была эта деревянная усмешка. Немец с женственной талией начал что-то говорить, слегка кивая в сторону Овчинникова. Сухонький, в черном плаще, медлительно зашевелился, и Овчинников увидел под крутым козырьком сухое лицо, глубокие прямые морщины возле рта, по-стариковски выцветшие глаза. Немец смотрел внимательно, устало, смотрел только на стыло усмехающиеся губы Овчинникова, не отводя взгляда, и Овчинников чувствовал, как холодный пот обливает все тело.

Тотчас этот сухонький утомленно, скрипуче сказал что-то красивому, стройному немцу, что держал в руках сумку Овчинникова. И тот, покорно ответив, расстегнул сумку и по-

прежнему брезгливо, будто прикасался к вещам покойника, стал вынимать то, что было в ней, и Овчинников испытывал в эти секунды такое чувство, словно раздевают его догола.

«Там карта, карта с огневыми!»

Красивый немец вынул карту, потертую по краям, вежливо, осторожно отодвинул на столе бутылку с фарфоровой пробкой, переставил металлический стакан, разложил карту на столе. Затем выложил, держа кончиками пальцев, насквозь пропотевшую, выгоревшую на солнце летнюю пилотку («Там в ней иголка с ниткой», – почему-то вспомнил Овчинников), и немец жестом гадливости смахнул ее на землю. Оттопырив пальцы, развязал узелок – несвежий носовой платок, в котором были парадные, сделанные из фольги лейтенантские погоны, запасные никелированные звездочки (в госпитале лежал и сам отникелировал их Овчинников в соседней часовой мастерской). Немец бросил и это на землю. Порылся в сумке, достал офицерское удостоверение, замызганные треугольнички (письма матери из Свердловска), оставил это на столе. Потом вынул испорченную зажигалку-пистолетик, немецкую зажигалку («Зачем он взял ее, зачем?»), с интересом рассмотрел ее, как бы ища метку фирмы, и, насмешливо улыбаясь, что-то сказал сухонькому немцу в черном плаще. Немец этот, не убрав старческую холеную руку со стола, бесстрастно смотрел на разложенную карту Овчинникова, и Овчинников чувствовал, что может упасть – болезненные удары в сердце, в голове оглушали его.

Не мог вспомнить, почему, почему положил он карту не в планшет, а в сумку. «Я не хотел этого, я не хотел! Не хотел! Что делать? Броситься, разорвать карту, успеть те места с отметками затолкать в рот... Спокойно, спокойно, не так... поближе к столу! Спокойно...»

Глухой от шума крови в висках, он сделал шаг к столу, но тут же чьи-то руки рванули его за плечи назад, а сухонький немец в черном плаще снова перевел глаза на его губы, пучившиеся кровью.

Невысокий, атлетически сложенный человек в зеленом френче, одергивая френч, поправляя парабеллум на боку, упругой походкой шел от машин. Приблизился к столу, кинул руку к козырьку и заговорил по-немецки. Сухонький в черном плаще снял фуражку, обнажив редкие седые волосы, и, холодно глядя на карту Овчинникова, кратко и утомленно сказал что-то. Новый человек развернул удостоверение Овчинникова, полистал. У человека этого были тонкие – полоской – усики на матовом лице, косые бачки вдоль прижатых, как у боксера, ушей, неизвестный Овчинникову немецкий орден мерцал на солнце эмалью, колыхаясь на его груди, выпукло обтянутой френчем.

Подвижные черные глаза ощупали Овчинникова, засветились настороженно-приветливо, и он, положив удостоверение на стол, заговорил по-русски, чуть раздвинув губы улыбкой под тонкими усиками:

– Лейтенант Овчинников, Сергей Михайлович, командир

огневого взвода первой батареи первого дивизиона двести девяносто пятого артполка?

Как от толчка, Овчинников дернулся головой, услышав это чисто русское произношение, каким не мог владеть немец, и, удивленно впиваясь зрачками в матовое, гладко выбритое лило человека, понял, кто этот переводчик.

И сквозь кривую, застывшую усмешку, с клетотом крови в горле спросил:

– Русский? Ты – русский?

– Лейтенант Овчинников, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Дело в том, что несколько слов могут спасти вам жизнь. Вы, я думаю, это поняли?..

Послышался звук над вершинами сосен – тяжелое шуршание приближалось издалека, – дальнобойный снаряд летел, будто посапывал, дышал, расталкивая воздух. И, ударив по лесу оглушительным грохотом, разорвался в чаще, за поляной. А Овчинников, поглядев в ту сторону, охваченный дрожью, злобной радостью, бившей его, подумал с последней надеждой: «Сюда, сюда, братцы родные, прицел бы снизить на два деления. Давай, давай, братцы! Сюда!»

Все вопросительно повернули головы к немцу в плаще, тот не выразил старчески сухим лицом тревоги, слабо провел белой ладонью по гладким седым волосам, не без недовольства сказал переводчику какую-то фразу и холодно кивнул женственно-красивому немцу – адъютанту, по-видимому. Тот сейчас же откинул фарфоровую пробку горлышка

бутылки, налил в металлический стакан сельтерской воды, и сухонький седой немец отпил несколько глотков, устремив раздраженный взгляд на переводчика. Тот, искательно играя глазами, заторопился, заговорил резче, но Овчинников его не слушал. Пристально, не мигая, смотрел он на бутылку с фарфоровой пробкой.

И он вдруг поразительно отчетливо вспомнил, как в Польше освободили концлагерь. Полусожженные трупы один на другом лежали там штабелями, с дырками в затылках: женщины в одном месте, мужчины – в другом. Оставшиеся живыми рассказывали, что немцы расстреливали их перед уходом, приказывали ложиться лицом вниз, и люди покорно ложились, живые на мертвых: женщины в одном месте, мужчины – в другом. Немецкая мораль не позволяла класть мужчин и женщин вместе, это считалось неприличным. И каждый академический час – сорок пять минут, устав от выстрелов, вспотев, немцы, не забывая пунктуальную точность, садились на траву, пили сельтерскую воду. Соломенные корзины с пустыми бутылками стояли здесь же, около штабелей трупов. И эти корзины видел Овчинников. Тогда поразило его, почему люди покорно ложились под пули? Устали от страданий? Хотели покончить с этими страданиями? Люди ждали, а они пили сельтерскую воду...

Он стоял, смутно видя смуглое лицо переводчика, тонкие усики, белые зубы под ними, и уже не усмехался – не было сил усмехаться. Кусал губы в кровь – что-то огромное,

плотное и черное росло, душило его, стискивало горло, точно нечеловеческий крик ненависти, бессилия, неистребимой злобы рвался из его горла, а он глотал этот крик, как кровь. «Что он спрашивает? Что они все спрашивают? О минных полях? Об орудиях? Карта на столе. Почему я не оставил ее в планшетке? Почему замолчала дальнобойная? Значит, конец... Конец?.. Неужели уйдут в Чехословакию? Карта на столе... Все время чего-то мне не хватало... Чего мне не хватало в жизни? Чего не хватало?..»

– Я все скажу, все скажу, вы не расстреляете меня... Я все скажу...

Он не услышал свой голос, хрип выталкивался из его горла. Он ступил к столу, увидел: переводчик с заигравшей под усиками улыбкой поспешно сделал какой-то знак. Сухонький немец, закинув ногу на ногу, выгнул брови. И чьи-то руки не задержали Овчинникова, как прежде, не остановили его. Он видел одно – зеленый приближающийся квадрат карты на столе и повторял:

– Я все скажу... я все скажу...

Он рванулся к столу. Протянул руку, с мгновенной радостью почувствовав глянец карты под пальцами, и в то же время страшный тупой удар в висок опрокинул его на землю, зазвенело в ушах. Что-то тяжелое навалилось на него, сцепило горло, какие-то голоса, как вспышки в черной мгле: «Вилли! Вилли!» И на голову полилось жидкое, холодное. Его перевернули на спину. Он застонал, черная мгла исчезла, увидел

небо – тоскливый, синий океан и среди синевы наклонившиеся, заостренное лицо женоподобного адъютанта, прищуренные веки. Он лил ему на голову воду из сельтерской бутылки и, торопя, звал кого-то: «Вилли! Вилли!»

«Я еще жив? – вихрем пронеслось в мозгу у Овчинникова. – Я еще жив...»

Кто-то сильно рванул его от земли. Подняли на ноги, ударив по раненой руке, и от живой этой боли он пришел в ясное сознание, облизнул губы, судорожно усмехнулся. Он стоял на ногах, пошатываясь, – живучая сила держала его на земле. И вплотную придвинулась темная глубина стоячих, немигающих глаз переводчика, вонзилась острыми иголочками ему в зрачки, ноздри прямого носа раздувались.

– Последний раз спрашиваю, лейтенант Овчинников, последний раз... Слышите вы?

Потом вблизи лица переводчика появилось другое лицо, широкое, мясистое, багровое и какое-то все потное и сытое, как после обеда. Оно сочувственно морщилось, покачивалось, толстые складки короткой красной шеи наплывали на воротник с черной окантовкой. И новое лицо это как-то ласково подмигнуло Овчинникову, рыхлые губы расплзлись в улыбке, показывая золотые, тусклые от еды зубы, и на мягкой, крупной ладони его взлетел парабеллум – человек играл им. «Вот этот новый убьет меня, – подумал Овчинников. – Это тот, кого звали Вилли...»

– В последний раз задаю вопрос... Слышишь?

«Теперь все, вот оно», – подумал Овчинников и засмеялся диким, клокочущим смехом.

– Курва ты, сволочь! Родину за три сигареты продал! – крикнул он, оборвав смех, и правой рукой ударил переводчика в подбородок. – Проститутка! Шкуру с меня сдирайте, ни слова вам не скажу! Ни слова! Поняли? – и снова засмеялся хрипло и страшно, шагнув к немцам. – Думаете, в Чехословакию прорветесь? Не-ет!. Вам коне-ец! Все-ем вам конец! Ни одна сволочь не уйдет! Ни одна... Вас, как крыс, душить надо, как крыс!.. Я сам десять танков ваших сжег! Вот они, в котловине горят! И если б...

Он задохнулся – не хватило дыхания. Увидел: переводчик, вытирая платком щеку, быстро, подобострастно говорил что-то нахмурившемуся седому немцу, говорил, словно оправдываясь, и просил о чем-то. И в то же время вынимал из кобуры пистолет.

А толстое, мясистое лицо тоже нахмурилось и ждало. Спуская предохранитель, переводчик подошел к Овчинникову, глянул мерцающими щелками глаз. Затем опять просительно что-то сказал двум немцам, стоявшим за спиной Овчинникова, и его повели.

– Выслужиться хочешь, сволочь? – крикнул Овчинников. – Так ты увидишь, курва, как умрет лейтенант Овчинников!

Короткий возглас на немецком языке услышал он позади. Невесомо-легко стало ему, никто не сжимал раненую ру-

ку, но он все-таки хотел повернуться, чтобы увидеть то, что ожидало его за спиной, прохрипел:

– Стреляй в лицо, курва предательская!..

И не успел повернуться, что-то с треском толкнуло, ударило его в бок, в грудь, и он еще почувствовал жесткий удар земли в щеку, а почувствовав это, он хотел вспомнить что-то ясное, чистое, синее, что было в его жизни, что должно было быть, но не мог вспомнить...

Он не знал и не мог уже видеть, и чувствовать, и знать, что в эту секунду к нему, улыбаясь золотой улыбкой, вразвалку подошел тот самый вызванный Вилли, нагнулся, потом, презрительно поморщась, взглянул на переводчика и спокойно, расчетливо выстрелил три раза в лицо Овчинникову, который в эти секунды еще жил...

Бой на северо-востоке от города Касно постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел с ходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Подоженные танки перед высотой, бронетранспортеры, разбитые машины на шоссе неохотно и дымно горели до полудня. И как только начал затихать здесь бой, стала особенно слышна тяжеловесная канонада в стороне Касно. Грифельная мгла косо шла над городом, занимая полнеба. Во мгле этой через каждые полчаса приходили с востока большие партии наших штурмовиков; разворачиваясь, ныряли над улицами, подолгу обстреливали и бомбили, казалось, центр города.

Новиков несколько раз вызывал по проводу КП майора Гулько, но связи не было. Солдаты, иступленные боем, вповалку лежали на огневой в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить, кислая горечь была во рту.

В полдень принесли в термосах завтрак. Солдаты задвигались: нервно зевая, загремели котелками, ложками выскребывали из них землю. Но ели пшеничную кашу устало, не жад-

но, запивая терпким трофейным вином, все косились на горевший город, недоверчиво взглядывали на удивительно чистый, солнечный, синий край неба над Карпатами.

В кристально студеной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие, по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело, поблескивая, озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. Туманный круг его стоял над вершинами лесов, над острыми пиками Карпат.

И в молчании мирно-тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного блеска, тепла, установившегося перед высотой. Непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство неуспокоенности, упорно нацеленного удара в спину.

Это ощущал и Новиков. В течение пяти часов батарея потеряла двенадцать человек и два орудия. Кроме того, он понимал, что в зависимости от успеха боя на юго-западе немцы повторят удар с севера, решающий удар для той и другой стороны. Он знал это – и не повторение боя волновало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом не было, и возникло тревожное предположение: немцы прорвались к центру города, отрезали от дивизиона батарею, нарушили связь.

– Что ж... всем завтракать. Да как полагается. Не мусолить, а по-настоящему жрать! – сказал Новиков, сам чув-

ствуя в своих словах фальшивую веселость. – Наминать кашу так, будто на три года в оборону здесь встали!

Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно, долго вытирал ложку чистой паклей. Новиков, сидя на станине, взял ложку, зачерпнул из котелка и, поднеся к губам, сказал насмешливо:

– Вы становитесь образцовым солдатом, Ремешков. Только скатерти не хватает. Верно? И на кой... нарезали аристократическими ломтиками хлеб? Себе вон кусищи какие навалили! Вы за кого меня – за красную девицу принимаете? А как у вас аппетит, младший лейтенант?

И, сказав это, потянулся к большим ломтям хлеба, которые Ремешков положил отдельно для себя на расстеленную плащ-палатку.

Младший лейтенант Алешин ел не без аппетита, вдруг смешливо посмотрел ярко-синими глазами на замкнутое лицо Ремешкова, черенком ложки сдвинул на затылок фуражку, хотел спросить: «А где же ваш вещмешок?» – но поперхнулся, закашлялся и, прикрывая смущение, спросил, обращаясь к Новикову:

– Дернем, товарищ капитан? Я захватил ром, – и с видом пьющего, легкомысленного человека отстегнул фляжку от пояса.

– Пожалуй, дергать воздержусь, – ответил Новиков. – До завтрашнего утра пить не будем.

– Вот уж напрасно, – притворно озадаченно вздохнул Алешин, разглядывая фляжку. – После такого боя стоило. А то каша в горло не идет! Нет, а я все же выпью! Можно? За подбитые танки, товарищ капитан! – И, запрокинув голову, отхлебнул из горлышка несколько глотков, дружески, взволнованно сияя глазами, предложил фляжку солдатам: – Кто хочет, товарищи? Ну, орлы, что вы как мертвые? За подбитые танки! Всем по глотку!

Никто не поддержал его. Все лениво жевали, глядя в котелки.

– Эх вы, чудаки, за танки ведь! Что, плакать будем, что ли? – сказал Алешин, покраснел и так заскреб ложкой в котелке, что Новиков чуть улыбнулся.

Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам, его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которые он пережил только что. Однако солдаты не были расположены к этому разговору.

Порохонько не ел, даже не притронулся к котелку, лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо желтоватыми воспаленными глазами. Подбородок грязно оброс, галифе на длинных ногах порвались в коленях. Он сказал шепотом:

– Лопатками аж чую – земля гудит. Танки по городу идут, прорвались они... – И приподнялся, остановив тоскливый взгляд на Новикове. – Погибать тут, не в России, – вое одно

що мордой вышню давить. Двинут они – и конец хлопцам. Туда бы, к орудиям, ползком, та помаленьку на хребтине – раненых сюда. А, товарищ капитан?

Новиков молчал. Порохонько снова лег, вспоминаяще следил за движением облаков в небе, губы его подрагивали.

– Если бы знал, где соломку подложить, с собой ворох бы и тягал, як Ремешков вещмешок. Да и тот вещмешок... Сбоку разрывной очередью полоснули, так оттуда белье, як кишки, полезло...

И угрюмо, исподлобья Порохонько покосился на молчавшего Новикова.

Ремешков сидел над пустым котелком, отламывал, бросал в рот кусочки хлеба, жевал осторожно.

Хотя приказ оставить орудия исходил от Овчинникова и они не могли не исполнить его, люди эти, бросившие раненых, понимали и чувствовали, что потеряли свою человеческую ценность и для Новикова, и для солдат: никто будто не замечал обоих.

Наводчик Порохонько воевал в батарее ровно год, пришел с пополнением из освобожденной Житомирской области. Необычно высокий, длиннорукий, длинноногий, бывший учитель арифметики в сельской школе, он не был, как иные из оккупированных областей, преувеличенно исполнительным, тихим – держался независимо, самолюбиво, спорить с ним опасались. Было в оккупации за его спиной нечто такое, чего он не стеснялся, но о чем не говорил никогда.

Стрелял Порохонько выверенно и точно; постоянно возил в передке банку белил; после каждого подбитого танка кистью тщательно выводил кольцо на стволе орудия, затем, расставив циркулем ноги, подолгу любовался этим знаком, довольный, сообщал всем: «Ось так. Ясно, славно! Ось где нужна арифметика! За Петро, хлопчика-цыганка! Его медаль!»

Кто был, однако, этот Петро-цыганок – в батарее не знали. Но уже дважды награжденный, Порохонько ордена не надевал, а деловито завернув их в чистую тряпочку, носил узелок в нагрудном кармане гимнастерки, как самую большую ценность.

– Нет, не могу ждать! – повторил Порохонько и с силой постучал щепоткой пальцев в неширокую грудь. – Я ж не могу ждать, товарищ капитан. Терпежу нет. Лягалов там. Я ползком... Ремешкова возьму...

– Помолчите, Порохонько! – сказал Новиков наконец. – Ешьте лучше кашу! Я не верю в это.

Порохонько побледнел, щетина стала чернее на щеках, подбородке, спросил нащупывающим голосом:

– Не верите? Что ж, может, и ордена задаром дали? Тогда возьмите. Я ж оккупированный!.. Может, так?

И он зло достал из кармана гимнастерки узелок с орденами, взвесил его на ладони, длинное мрачное лицо стало замкнутым.

– Тогда возьмите ж, товарищ капитан!

– Давайте ордена, – сказал Новиков спокойно и протянул

руку. – Значит, я ошибся...

Он много видел отчаяния на войне и знал: не надо жалеть людей, когда они теряли землю под ногами в минуту слабости, и, хотя сейчас видел в глазах младшего лейтенанта Алешина растерянность и осуждение, он сухо повторил:

– Давайте ордена. И так как я ошибся, а вы это поняли, то делать нам в одной батарее нечего. После боя я переведу вас в другую батарею. Ремешков, вы что хотите сказать?

Ремешков, безмолвно собиравший котелки, чтобы помыть их, с выражением застывшего недоумения обернулся к Новикову белобровым лицом своим, произнес тихо:

– А когда с лейтенантом Овчинниковым бежали, он приказал мне: если меня убьют, доложи, мол, капитану, что десять танков подбили. Порохонько, мол, четыре. – Ремешков, сглотнув, глянул в сторону Порохонько. – И прицелы, мол, отдай капитану.

– Це же не мои танки, це Петро, хлопчика-цыганка. И ордена его, – то ли обращаясь к Новикову, то ли к самому себе, шепотом проговорил Порохонько, стискивая в горсти узелок с орденами, моргая обожженными порохом ресницами. – Як быть, товарищ капитан?

– Спрячьте ордена, пока я не раздумал, – сказал Новиков холодно. – Батарея за несколько часов потеряла двенадцать человек. Я не хочу, чтобы было двадцать. Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку.

Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей.

Новиков приблизился к Алешину, посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза, спросил:

– По лицу видел: все время хотел что-то сказать. Ну, слушаю.

– Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его... Зачем? Замечательный ведь наводчик! – горячо заговорил Алешин. – Я за него ручаюсь! Товарищ капитан, я ведь верю вам!.. Но он прав. Разве можно ждать? Терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан, мы оставили раненых?

Новиков сказал:

– Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют, такие штуки, как с Порохонько, – это нервы. Началось с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было. Ты понял, Витя?

– Вы убили его? – полуутвердительно сказал Алешин. – Я видел...

– Этого я не видел, – покачал головой Новиков. – Я чувствовал, они хотели взять его живым. И если он попал к ним, я бы хотел не промахнуться.

– Не верите ему?

– Не в этом дело.

– Вы вместо наводчика сами стреляете! Тоже не верите?

– Опять не в этом дело. На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому.

Алешин замялся, брови его хмурились, каштановые волосы наивно лежали на незащищенно чистом лбу, открытом

сдвинутым назад козырьком фуражки. Но весь вид его не был беспечно лихим, как давеча, когда после боя пришел он от орудия весь налитый радостью молодого тщеславия, – расчет его подбил четыре танка. И Новиков подумал: они недалеко друг от друга по годам, но что-то резко отделяло их, просто он чувствовал себя гораздо старше Алешина, и странная, похожая на горечь нежность толкнулась в нем. «Он сохранил то, что потерял я, – жить по первому впечатлению. А это признак молодости. Как он это сохранил? Может быть, потому, что он год был рядом со мной и смог сохранить то, что я терял? – подумал Новиков. – Неужели это так?»

– У них ведь снарядов нет, товарищ капитан! – заговорил, помолчав, Алешин. – Пять снарядов – почти ничего. А Лена там... С ранеными. Нажмут фрицы из ущелья, и не успеем!.. Страшно подумать, что они сделают с Леной. Я раз видел одну медсестру... И не понимаю, не понимаю... Почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?

Новиков курил, сквозь дым сигареты глядел на Алешина, не прерывая его.

«В отличие от меня он понимает только добро в чистом виде, – опять подумал Новиков, вспомнив недавний разговор с Гулько. – Он не умеет скрывать то, что надо иногда скрывать в себе, не научился ждать, терпеть. Он слишком поздно начал войну, чтобы понять: порой шаг к добру, стремление сейчас же прекратить страдания нескольких лю-

дей ведет к потерям, которым уже нет оправдания. Еще два года назад я думал иначе».

– Надо понять, – проговорил Новиков, – надо понять: нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди – значит, орудия существуют. Пять снарядов – не один снаряд. Это пять выстрелов по переправе. По танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения? Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на два, на три часа, на сутки продлится дольше. Все ясно? Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость.

Он расстегнул пуговичку на воротнике гимнастерки, сбросил ремень, лег на солому, слыша, как в замешательстве вышел из землянки Алешин. И только сейчас почувствовал каменную усталость во всем теле. После нескольких часов напряжения до рези болели глаза, ныли мускулы, горели в хромовых сапогах ноги, но не было желания двинуться и, испытывая наслаждение, скинуть тесные сапоги. Он закрыл глаза – блеснули вспышки, ощутимо толкнуло в грудь душным воздухом, неясно и невесомо возник чей-то голос: «Там раненые возле орудий... Где Овчинников? Овчинников убит? Богатенков убит, Колокольчиков убит... Убит? А Лена? Она убита? Не может быть...»

Сквозь этот хаос вспышек, сквозь этот незнакомый голос

он с чувством мучительного преодоления дремоты пытался вспомнить, представить ее лицо, какое было оно у живой. Что это? Для чего она здесь? Он где-то стоял в тишине под фонарем у забора, падал снег, и она открыто, смело, готовая на все, шла к нему узкими шагами, стройно покачиваясь, и в такт шагам колыхалась ее шинель. Но когда это было? В детстве? Что за чепуха! Вот ее последнее письмо, которое он все время носил с собой. «Тебя уже не было в живых, ты был убит, а мы сидели с ним три года за одним столом в пятой аудитории, помнишь? Вместе готовились к зачетам, и я привыкла к нему. Дима, об этом надо было сказать сразу, ведь ты веришь...»

«Молодец! В первый раз сказала прямо, лучше всего ясность... Спасибо, милая Лена... Она убита? Не может быть! Кто это сказал? Младший лейтенант Алешин? Но он не знал никогда ту Лену, тот фонарь, тот снег... Я не говорил об этом. Откуда он знал?»

Вспышки исчезли, что-то глухое, вязкое душило его, наваливаясь на грудь, и Новиков, задыхаясь, чувствовал во сне это душевное беспокойство, тоскливо тупую, непроходящую тревогу. Весь в испарине, он застонал, точно стиснутый в накаленном солнцем мешке, и от ощущения физического неудобства повернулся на бок. И, на минуту очнувшись от липкой дремоты, смутно понял, что физически беспокоило его, – жали тесно, колюче сапоги. Стараясь восстановить в памяти бредовую путаницу сна, он, опираясь носком одно-

го сапога в каблук другого, хотел стащить их с ног, чтобы освободиться от этой горячей тесноты и наконец испытать ощущение отдыха. Но неясные отблески беспокойства оставались в сознании, не покидали его.

Громкие голоса, движение возле землянки заставили Новикова разомкнуть глаза.

Он сел, привычно потянулся за ремнем с пистолетом. Отдаленные удары толчками проходили по землянке.

– Что там? – крикнул он, уже машинальным движением стягивая ремень, оправляя кобуру. И, вскочив, шагнул к выходу, завешенному плащ-палаткой, отдернул ее, тревожно охваченный предчувствием: случилось что-то с орудиями, с Леной...

На пороге стоял младший лейтенант Алешин, трудно переводя дыхание: он, видимо, бежал от огневой.

– Что случилось? Орудия? Лена? – тотчас спросил Новиков, по какой-то внутренней связи соединяя все в одно.

Алешин, подавляя возбуждение, доложил:

– Петин, товарищ капитан... От Гулько... там черт те что... Танки прорвались. В центр. Обстреляли машины. Одну сожгли.

– Какие машины?

– Там Петин на огневой, товарищ капитан... Одну машину привел. Вас ждет. Осторожней, тут автоматчики и снайперы появились. Бьют по орудию, откуда – непонятно! Вот гады!

– Пошли!

Новиков вышел из полутьмы землянки в прозрачную чистоту осеннего воздуха, в ход сообщения, залитый солнцем, и здесь Алешин остановил его:

– Пригнитесь, товарищ капитан! Тут они пристреляли. По мне полоснули. Чуть фуражку не сбили. Вон, смотрите!

И указал на выщербленные белые отметинки – следы пуль на выступавших из земли торцах наката.

– Откуда обстреляли?

– Пригнитесь, прошу вас, товарищ капитан!

Но прежде чем пригнуться, Новиков скользнул взглядом по солнечному покойному озеру, по минному полю перед высотой. В глубокой низине струился дым догоравших угольно-черных танков, мирно желтели на солнце сосновый лес, бугры позиций Овчинникова, – настороженный, обогретый, странный покой был здесь. И только справа и за спиной, где был город, нарастали, смешивались звуки боя. В мрачно ползущей стене дыма над городом с рокотом мелькала партия наших штурмовиков, снижаясь над улицами, высокая пушечные вспышки, скачкообразные, покрывающие все разрывы бомб потрясали землю.

– Пригнитесь же, товарищ капитан, прошу вас! Вы же... – Алешин не успел договорить: сухой щелчок выбил брызнувший осколок дерева из торца наката над головой Новикова. Оглянулся – пуля легла в пулю – и посмотрел туда, где в голубой солнечной тишине перед высотой мягко лопнул вы-

стрел. Звук выстрела растаял бесследно, но показалось Новикову: стреляли недалеко.

– Надо бы выследить эту сволочь, – сказал Новиков и, все-таки пригнув голову, пошел по ходу сообщения. – Возьми на себя, Витя. Перещелкает людей поодиночке. Слышишь?

– Здесь не один, – ответил Алешин, вглядываясь в торцы наката. – Расползлись, как тараканы. Со всех сторон бьют!

На огневой позиции в окружении солдат сидел, изможденно привалясь широкой спиной к брустверу, ординарец Гулько Петин. Сидел он, громоздкий, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Вода текла на разорванную гимнастерку, на грязные колодки медалей. Увидев Новикова, поставил на землю, расплескивая воду, котелок, попытался встать, двинув ногами. Новиков сказал:

– Сидите! Что в городе? Рассказывайте. Подробнее... А это что у вас с глазом?

Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла, кровоточила мелкими порезами, один глаз, весь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин прижал к нему широкие пальцы, а здоровым, удивительно спокойным и ясным глазом нерешительно обводил солдат. И Новиков, поняв, поторопил его:

– Говорите при них. Они все должны знать. Что, танки в городе?

– Прорвались... В центр, – рокотнул Петин и длинными

громкими глотками отпил из котелка, вытер губы. – Связь перерезали... Майор Гулько в боепитание послал, чтобы дорогу я, значит, сюда, к вам, показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали из улицы в центр на площадь, глядь – возле костела танки какие-то. Думал, наши, а они как махнут по нас из орудий! Я с шофером сидел, осколки – по стеклу, что-то в глаз отлетело. Не больно, слезы и режет только...

Петин замолчал, неловко почесал глаз, с досадой ощупал разорванную гимнастерку.

– А это за ручку задел. Одну машину подбили, на два скаута сразу села. А мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам – от майора. Вот. Ответ пропишите.

Петин вынул из кармана кисет, из него – аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новикову. Новиков развернул, увидел несколько фраз, написанных ровным, мелким почерком: «Посылаю с Петиним обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам – будет легче. Майор Гулько».

«Кому нужны сейчас эти сантименты?» – подумал Новиков и, хмуясь, сунул записку в карман. Сказал:

– Письма писать некогда. Передайте – батарея потеряла двенадцать человек и два орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?

– А там, внизу, под высотой, – полуобиженно мигнул заплывшей краснотой глаза Петин. И спросил уже беспокойно и потерянно: – А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется...

Новиков не смотрел на него.

– Всем – к машине, от огневой ползком, перебежать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям! – негромко скомандовал он, оглядев задвигавшихся солдат. – А вам, Петин, в госпиталь бы надо. Не трите глаз. У вас не соринка. Жаль, санинструктора нашего нет. Перевязку бы вам...

И после этих слов совсем ненужно вспомнил близкие теплые зрачки в темной, втягивающей глубине Лениных глаз, вздрагивающие от смеха ресницы, легкое, прохладное прикосновение пальцев ко лбу. «Не смотрите на губы, там ничего нет, смотрите мне в глаза! Ну?»

Как-то месяц назад в глаз ему попала соринка во время стрельбы, и Лена вытаскивала ее. Она хорошо это сделала, но и тогда раздражала Новикова своей вызывающей неестественностью.

– Есть индивидуальный пакет? Дайте-ка. Снимите пилотку, – приказал Новиков Петину.

И, нетерпеливо обождав, пока тот искал, шарил по карманам, а потом вынул замусоленный, в крошках табака пакет, Новиков разорвал его, придвинулся к Петину. Неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и чисто забелевший на крупном, грубо выдубленном ветром лице Петина. Тот на-

клонял голову, вспотев, сопя; единственный глаз с опаской мигал в лицо Новикова.

– Да какой же госпиталь, товарищ капитан? – пытаюсь улыбнуться, бормотал он. – Так, ерундовина. Проморгается. Зачем это вы? Мне к майору надо... Спасибо, товарищ капитан! Некстати это...

– Смерть и ранение всегда некстати, – сказал Новиков, завязав узел, и легонько оттолкнул Петина. – Теперь двигайтесь к майору. Да только пригибаться и бегом. – И чуть-чуть усмехнулся. – Для снайперов вы мишень огромная. Ну, бегом марш!

– Счастливо вам...

Петин грузно встал, старательно одернул гимнастерку, перешагнул через бруствер и вдруг, неудобно пригнувшись, придерживая растопыренными пальцами медали на груди, тяжело порысил по высоте к скату, за которым только что скрылись посланные за снарядами солдаты.

– Ползком! – крикнул Новиков. – Гимнастерку жалеете? Ложись!

В солнечном пространстве перед высотой, где чадили танки, поспешно треснул выстрел, синий огонек разрывной пули высекся под ногами Петина. Он, как бы очень удивленный, выпрямился всей огромной своей фигурой, сияя чистым бинтом на голове, поглядел туда, где щелкнул выстрел, неуклюже махнул рукой и сбегал, скатился по скату.

«Задело его? Нет, не может быть, не задело!» – подумал

Новиков, давно уверенный, что на войне подряд два раза не ранят, второй раз – убивают.

И тогда громкий, отчетливый голос младшего лейтенанта Алешина заставил его обернуться.

– Товарищ капитан, вроде из-под танка подбитого лупят! Не видите?

Алешин без фуражки – каштановые волосы светились на солнце – лежал под бруствером, смотрел куда-то перед высотой, в белесую дымку, плавающую в котловине.

– Пошли к пулемету, покажешь! – сказал Новиков.

В ровике НП, перешагнув через дремлющих связистов, Новиков спросил у дежурившего около пулемета разведчика:

– Заметили, откуда бьют снайперы? – И, не выслушав его полусонного бормотания: «Да тут солнце в глаза бьет», – снял с бруствера ДП, перенес его, меняя позицию, в дальний конец хода сообщения, установил на бровке.

Алешин лег грудью на стену окопа, прошептал:

– Правее орудия Овчинникова, на минном поле – подбитый танк. Пушка к нам развернута, видите? Оттуда выстрелы.

Это было то место, где ранило Овчинникова.

– Прощупаем, – сказал Новиков.

И выпустил две короткие очереди, стремительно запылившие перед гусеницами подбитого танка. Тотчас он уловил двойной ослабленный звук выстрелов из-под днища тан-

ка. Он быстро взглянул вправо и назад, на высоту, где обстреляли Петина. И увидел человека, низкого, плотного, коротконогого. Рыхло забирая сапогами, он бежал, видимый как на ладони, к огневой позиции. Стреляли по нему. Новиков, не отнимая пальца от спускового крючка, крикнул Алешину:

– Какого... там шляются? Кто это такой? А ну, наведи порядок! Может, опять от Гулько!

Он поставил удобнее локоть, прижал к плечу ложу пулемета, снова выпустил две короткие очереди под днище танка. Неясно услышал окрики Алешина: «Ложитесь, ползите! Откуда вы?» Затем тонко, мстительно взвизгнуло над ухом несколько пуль. Понял: теперь стреляли по пулемету, и, загораясь знакомым чувством азарта, он крепче стиснул ложу, вторично прицелился. Весь диск вылетел туда, откуда стрелял немецкий снайпер. И только после этого Новиков сорвал пулемет с бровки окопа, переставил на другое место, бросил разведчику:

– Новый диск! Быстро!

От орудий по ходу сообщений в сопровождении младшего лейтенанта Алешина шел, нагнув голову, будто бодаясь, налитой и даже в талии толстый человек, квадратное лицо багрово, брови упрямо сдвинуты; и по этим бровям, по тучности и багровости Новиков, удивленный, узнал того капитана-интенданта, с которым у него произошло столкновение в особняке.

– А-а, интендант! – воскликнул Новиков. – Это за каким же лешим на огневую вас занесло? Судьбу испытываете? По снайперам соскучились? – И улыбнулся нахмуренному Алешину. – Чуете, Витя?

Интендант подошел, спотыкаясь от поспешности, едва выговорил:

– Товарищ капитан, я пришел, чтобы получить свое оружие. Я прошу оружие, оно записано под номером, – повторил он, глядя Новикову в грудь.

– Присядьте, – посоветовал Новиков.

Интендант присел, отпыхиваясь, вытер платком толстую шею, пылавшее лицо, подбородок. Делая это, поднимал и опускал руку, было видно, как тесный китель жестко давил ему подмышки. Новиков сказал полусерьезно:

– Ну вот что, если хотите, я могу извиниться. Что было, то прошло. Берите из особняка все, что необходимо для медсанбата: простыни, белье, вино, продукты, – и счастливого вам пути! От орудий, советую, ползком, иначе не вы нас, а нам вас придется отправлять в медсанбат. Кажется, все.

Интендант справлялся с одышкой, пот струями катился по лицу его, подворотничок врезался в шею, влажно потемнел, веки набрякли.

– У вас мое... оружие. Системы «наган», – сказал он упорно. – Прошу вас, мое оружие. Офицеру без оружия нельзя... Оно записано под номером. В документе...

– Младший лейтенант Алешин, отдайте оружие, – сказал

Новиков. – Наган! Достали бы пистолет или парабеллум, наконец. Алешин, что вы медлите? Отдайте оружие...

Алешин, с неприязнью вперив взгляд в интенданта, нехотя вынул из сумки массивный наган, повертел в руке и, краснея, сказал презрительно:

– Товарищ капитан, если каждый тыловик...

– Отдайте, – оборвал его Новиков.

– Спасибо. Я сам погорячился, – сдерживая одышку, выговорил интендант. – Я рад, что познакомился с вами, капитан. Если что будет нужно...

– Я не умею говорить любезности, – вежливо ответил Новиков.

– Ладно, пусть так. Может, еще увидимся...

Вталкивая наган в кобуру, интендант сгорбил тучную спину, зашагал по окопу, косясь влево на поле, где вились дымки над танками.

– А по высоте – ползком! Ползком! – гневным голосом крикнул Алешин. – Быстро!.. Приласкали, товарищ капитан, дикобраза какого-то! – возмущенно сказал он. – Тыловой комодакакий!

Новиков в это время, сильным ударом руки вщелкнув полный диск в зажимы пулемета, внимательно глядел в сторону города. Там, пульсируя тяжким громом, росла огромная, зловещая, кипящая чернота, надвигалась, заслоняя небо, все приближаясь, повисала над высотой. И то, что было несколько минут назад, казалось ничтожно маленьким,

ненужно пустячным, мелким по сравнению с тем, что надвигалось на них и что сознавал, чувствовал сейчас Новиков.

– Товарищ капитан, чеха ранило. В пехоту шел с термосом! Вон смотрите, в грудь его снайпер саданул!

– Где он?

– На огневой.

– Пошли.

Возле орудия сидел молоденький чех в новом, вроде еще хрустящем от свежести обмундирования, влажные, испуганные глаза старались улыбнуться Новикову, белый пушок, покрывавший верхнюю пухлую губу, в капельках пота; юношески худые пальцы прижаты к груди, точно поймал что-то и не выпускал он. Рядом у ног стоял термос. Ремешков, присев подле на корточках, разрывал индивидуальный пакет, жалостливо вглядывался в ребячье лицо чеха, вздыхая по-бабьи, спрашивал скороговоркой:

– Куда ж это тебя, куда? Эх, милый человек, неосторожно ты, они тут все пристреляли. В пехоту шел, землячок, к своим? Понимаешь, понимаешь по-русски?

– Добрый ден... – прошептал чех, закивал быстро-быстро, на секунду отвел руки от груди и молитвенно прижал их. – Рота... обед... Я – тр-р, катушка, связист... Шеста рота...

Он ясно смотрел Ремешкову в лицо, будто умоляя понять его. Темное пятно расплывалось на гимнастерке, окрашива-

ло худые пальцы чеха.

– Снимайте с него гимнастерку! Быстро! – приказал Новиков Ремешкову, взял у него индивидуальный пакет, повернулся к молча глядевшему на чеха Степанову. – Отнесите термос в шестую роту чехов. И передайте – ранен связист.

– Марине, Марине, повстани, – серыми губами шептал чех, когда Новиков при помощи Ремешкова стал перебинтовывать его, и все смотрел туда, за озеро, где лежала Чехословакия.

А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои, – связь была прервана. Телефонисты, раз восемь пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки, город горит, ничего не понять и нет возможности восстановить линию – она перерезана. Два часа спустя из парка, где стоял хоззвод, прибежал, дрожа от возбуждения, ездовой, доложил, что особняк и парк обстреляли автоматчики неизвестно откуда, лошадь убита, один повозочный ранен. А доложив это, спросил подавленно: «Может, место сменить куда подальше?» Новиков знал, что такого неопасного места, куда можно было передвинуть тыл, сейчас нет, отдал приказ окопаться хоззводу: всем, от повозочного до повара – на юго-западной окраине парка.

Мохнатое зарево, прорезав небо километра на два, раздвинулось над городом. Там, в накаленном тумане, светясь, проносились цепочки автоматных очередей, с длинным, воющим гулом били по окраине танковые болванки. Порой все эти звуки покрывали глухие и частые разрывы бомб – где-то в поднебесных этажах гудели наши тяжелые бомбардировщики. Ненужные осветительные «фонари» желтыми медуза-

ми покойно и плавно опускались с темных высот к горящему городу.

Отблеск зарева, как и в прошлую ночь, лежал на высоте, где стояли орудия, и слева на озере, на прибрежной полосе кустов, на обугленных остовах танков, сгоревших в котловине. Впереди из пехотных траншей чехословаков беспрестанно взлетали ракеты, освещая за котловиной минное поле, – за ним в лесу затаенно молчали немцы. Рассыпчатый свет ракет сникал, тускло мерк в отблесках зарева, и мерк в дыму далекий блеск раскаленно-красного месяца, восходившего над вершинами Лесистых Карпат. Горьким запахом пепла, нагретым воздухом несло от пожаров города, и Новиков, казалось, чувствовал на губах привкус горелого железа.

В девятом часу вечера он собрал людей на огневой позиции, сел на станину, держа в пальцах незажженную самокрутку. Курить было нельзя – снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные от зарева настороженные лица солдат. Безмолвно и неподвижно сидели они в ожидании приказа Новикова. Он сказал:

– Ждать нельзя, пора идти к орудиям Овчинникова. – Помедлил немного и повторил: – Идти к орудиям и вынести раненых. Там их трое: один ходячий – сержант Сапрыкин, двоих надо нести. – Он пососал незажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы. – Немцы ждут и навер-

няка предпримут последнюю атаку сегодня ночью, это ясно. Всем это ясно? – Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат. – Поэтому на всю операцию – час. Взять побольше запасных дисков. У тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Порохонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы. Но, какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать! Чехословацкую пехоту я предупредил. Это все. – Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, сказал Степанову: – Сержант, дайте-ка мне ваш автомат!

Молчаливый Степанов закивал как-то очень уж поспешно круглым, как блин, задумчиво-Добрым лицом своим, потом, насупясь, положил автомат на колени, тщательно проверил ход затвора, провел большой ладонью по стволу, будто пыль стирал; не сказав ничего, подал его Новикову.

Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле.

Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Порохонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех произвольно вскочить с легким шумом.

Порохонько, пристегивая к ремню автоматные диски в чехлах, подошел к Новикову, в зрачках играли красноватые хмельные огоньки, произнес вдруг отчаянно-бесшабашно:

– Ну, покурим на дорожку, щоб дома не журылись. Кто, хлопцы, даст на закрутку, тому жменю табаку дам! – И спросил зачем-то серьезно Новикова: – Разрешите, товарищ капитан?

Новиков разрешил. Кто-то из разведчиков сунул Порохонько тайно обсосанный в рукаве шинели недокурок, Порохонько, крикнув, спрятался за бруствером, торопливо, наслаждаясь, сделал несколько глубоких затяжек и сейчас же растоптал, растер окурок каблуком, выпрямился, говоря:

– Ось полегчало, аж продрало, – и, покончив с этим простым житейским удовольствием, чиркнул взглядом по фигуре Ремешкова. – А ты що ковыряешься, як дедок в подсолнухах? Ты-то некурящий?

– Я не... Я не курю, я ведь некурящий, – забормотал Ремешков заикающимся голосом.

Он суетливо вставлял диск в автомат, руки тряслись, напряженная шея наклонена, тень падала на лицо, и Новиков, вспомнив его вещмешок – горб на спине, недавний ужас в глазах, его унижительные жалобы на ногу, подумал, что в течение суток он беспощадно испытывал этого парня риском, близостью смерти, жестоко и сразу приучал к ощущению прочности человеческой жизни на войне, от которой Ремешков отвык за шесть тыловых месяцев, как, возможно, отвык бы и сам Новиков. И, подавляя в себе чувство жалости, Новиков спросил, готовый на мягкость:

– Нога болит?

Ремешков повесил автомат через шею, так же спеша скачущими пальцами застегивал шинель, оглядываясь на город, на близко фыркающие звуки танковых болванок. Он теперь знал, что никакая болезнь ноги в этой обстановке уже не поможет, как не помогла прежде, и словно торопился, обрывая все, к тому страшному, что ждало его, что в течение суток видел, пережил несколько раз.

Новиков скомандовал вполголоса:

– Все по местам! Порохонько и Ремешков за мной, – и двинулся по ходу сообщения.

– Товарищ капитан!..

Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте неясно светящееся лицо младшего лейтенанта, голос его зазвучал преувеличенно равнодушно:

– Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. Вот. Не от меня, конечно, а так... от всех. Передайте... – Он сунул Новикову три плитки шоколада, теплые, размякшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием: – Ни пуха ни пера, – и замер, опершись о стенку окопа.

– Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь. Остаешься за меня.

«Я второй раз передаю от него шоколад Лене, – думал Новиков, шагая по ходу сообщения и с твердой для себя определенностью чувствуя какую-то тайну их взаимоотношений,

которую не замечал. – Что ж, так и должно быть. Но почему я не знал? Что, я считал, что на войне не может быть обыкновенного человеческого счастья?»

Они один за другим спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться.

– Я в пехоту, к чехам, ждать здесь, – сказал он шепотом и пропал в темноте.

Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда, и теперь Порохонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкий, учащенный стук крови в висках. Одновременно взглянули» на озеро, на высоту. Озеро все – до низкого противоположного берега – теплело лиловым отсветом; высота за спиной кругло и темно выгибалась среди кровавого зарева и так ясно была вычерчена, что четко вырисовывались острые стрелки травы над бруствером огневой. Канонада из города доносилась сюда приглушенно.

Справа, в стороне пехотных траншей, оглушив трескучим выстрелом, с дрожащим визгом взмыла ракета. Повисла, распалась зеленым оголяющим светом. Ремешков вздрогнул, съежился, сдерживая стук зубов, выговорил прыгающим шепотом:

– Тут... рядом... за кустами... Колокольчиков убитый, связист. Я давеча наткнулся на него. Лежит...

– Ты чего это зубами стукаешь? Боишься, а? – спросил Порохонько, подозрительно-зорко вглядываясь в Ремешкова. – Чего тогда пошел? Для мебели? А ну замолчи! Идет кто-то...

Зрачки его зло вспыхнули, и Ремешков, вытянув шею, с покорностью замолк, наблюдая вдоль ската высоты. Там, едва слышно шелестя травой, шел, приближался к ним человек. Ремешков, не выдержав, позвал сдавленным вскриком:

– Товарищ капитан!.. – И, не получив ответа, шепотом выдал: – Смотри, на связиста наткнулся... на этого...

– Цыть! Какие тут тебе капитаны! Молчи! – зашипел Порохонько, стискивая трясущееся колено Ремешкова.

...Когда Новиков прыгнул в ход сообщения чехословацкой пехоты, его остановил голос из полутьмы:

– Гдо там? (Кто идет?)

– Русский капитан. Это шестая рота?

Месяц вставал над Лесистыми Карпатами; в тени, падавшей на одну сторону траншей, двое чехов дежурили у пулемета – курили на патронных ящиках спиной друг к другу, заученно при каждой затяжке нагибаясь ко дну окопа. У ног их металлически светились груды стреляных гильз. Увидев Новикова, один вскочил, правой рукой, в которой была сигарета, козырнул, широко улыбаясь, как давнему знакомому, и сейчас же вскочил и второй пулеметчик, тоже козырнул. Они узнали его – Новиков был здесь полчаса назад. Оба с любопытством, белея улыбками, рассматривали Новикова, заго-

ворили вместе обрадованно, выделяя слова заметным акцентом:

– Товарищ кап-питанэ... О, русове... Хорошо! Разумитэ?

– Разумею, – сказал Новиков. – Здесь командир батальона?

– Ано, ано (да, да), просим... товарищ... товарищ капитана. Просим...

Они проводили его до землянки, услужливо распахнули дверь, и Новиков вошел.

Командир батальона, высокий, с прямой спиной чех, сидел за столом в накинутом на плечи френче, глядел на разложенную карту, освещенную «летучей мышью», задумчиво черкал по карте отточенным карандашом. Двое других офицеров, прикрыв ноги шинелями, спали на нарах – лиц не было видно в полусумраке. Фуражки, полевые сумки, ручные фонарики, новые ремни лежали на пустых патронных ящиках.

– Капитана? – вполголоса воскликнул командир батальона и с выправкой строевого офицера встал, надевая френч, запахивая его на груди. – Капитана, сосед, ано? Так по-русски? Сосед!..

Он протянул руку Новикову и, сильно сжав его пальцы, дважды потрянул, не отпуская их, потянув книзу, этим движением приглашая сесть к столу. Лицо чеха не было молодым, однако не казалось старым, – он выглядел человеком неопределенного возраста: морщины прорезали выбри-

тые щеки, старили высокий лоб, но из-под рыжеватых бровей живо светились карие глаза. Он почти силой усадил Новикова на ящик, потом, садясь напротив Новикова, предлагая ему сигареты, заговорил по-прежнему негромко, – видимо, чтобы не разбудить спящих офицеров:

– Просим, сигареты! Я хотел... очень сказать... кто жив... из пушек?.. Вы имеете связь? Сигареты, просим...

– Спасибо, – ответил Новиков, закуривая сигарету. – Я бы хотел еще раз предупредить, что мы выходим на нейтральную полосу. К орудиям. Будем там около часа. Можно вашу карту?

– Да, да, очень просим, – пододвинул карту чех.

– Мы пойдем вот сюда. За ранеными. Вы знаете эту позицию. Что бы там ни случилось, прошу вас огня не открывать. И в течение этого часа не надо освещать минное поле ракетами.

– Разумитэ. Очень понимаю, – подтвердил чех, кивая. – Мы можем помочь... Много раненых вояк? Я дам вам чехов...

– Пока этого не надо, – сказал Новиков.

Говоря это, он увидел на карте Карпатский кряж, озеро, извилистую границу Чехословакии, за ней в долине, на черной нити шоссе Ривны – Касно, жирно обведенный красным карандашом город Марице, возле – кружочки других городов, где партизаны начали восстание, ожидая наступления с востока. Чех заметил его взгляд, разгладил изгибы карты,

пальцем провел от ущелья по шоссе Ривны – Касно – Марице, сказал:

– Марипе! Огромная война, капитанэ! Словацкие партизаны ждут русских. Боюеме сполу за свободу! (Вместе боюеме за свободу!)

– Немцы не пройдут к Марице, – сказал Новиков, отодвигая карту. – Мы пройдем к Марице, к партизанам. – И пошутил: – Это, как говорят, не за горами! Ну, до встречи!

Он погасил сигарету в консервной банке, заменявшей пепельницу, прощаясь, пожал руку командиру батальона.

– Желаю счастья, – сказал чех. – Вам стоит сказать йедно слово – и мы прийдем на помощь. Мы будем наблюдать.

– Спасибо. Значит, час без огня и ракет.

– Все будет так.

Командир батальона проводил его до конца траншеи.

После разговора с чехами Новиков, возвращаясь, метрах в двадцати от траншей наткнулся на тело убитого.

Лежал он на боку, в неудобной позе, застигнутый смертью, тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте, голова утомленно и наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. Сбитая смертью выгоревшая пилотка валялась тут же, облитая блестящей ночной росой. Ноги убитого были сжаты калачиком, будто холод смерти, который почувствовал он, заставил сжаться его и лечь так, сохраняя последнее тепло. И вдруг Новиков узнал своего связиста – не по лицу, а по худень-

кой руке и позе (тогда ночью, в особняке, он спал, так же подогнув голову). Новиков повернул Колокольчикова лицом вверх, долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово-бледным, мальчишески удивленным. («Зачем? Откуда по мне стреляли?») Оно запрокинулось на слабой, тонкой шее, тусклый синий свет месяца холодно стыл в полузакрытых глазах, которые всегда поражали Новикова своей ясной зеленью.

Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кисет, в нем были документы – кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил две медали «За отвагу», те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году... и, почувствовав на ладони холодную, гладкую их тяжесть, подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны.

Он вспомнил: «Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет... сестра одна, адрес вот тут, в кармашке». И обжигающая мысль о том, что, если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, он бы не погиб. Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался! Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его не было на войне.

...Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди

красноты зарева, недвижно сидевшие фигуры солдат и как бы сразу вернулся к действительности. Он, нахмуренный, подошел к солдатам, скомандовал:

– Вперед!

Порохонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым, за ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановив глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте и идти не нужно будет туда, вперед – в неизвестное. А поняв это, спросил дружелюбно:

– Что, не выветрилось еще тыловое настроение, Ремешков?

– Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан? – ответил Ремешков слабым криком. – Разве, я не понимаю?.. А совладать с собой не могу.

– Этого не хватило и Овчинникову, – сказал Новиков. – Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной.

– Цыть ты, цуцик несуразный! – злобно и сильно дернул Ремешкова за рукав Порохонько. – О смерти залопотал! Про себя соображай, цуцик!

Сразу же ступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным тяжелым сумраком. Будто дымящийся месяц мертво обливал синевой пожухлые листья; немое движение месяца и это матовое сверкание листьев создавали острое чувство затерянности, неизбывного одиночества. Ракеты боль-

ше не взлетали над пехотными траншеями, затаенная глухота распростерлась перед высотой, и отдаленные проникали сюда раскаты боя в городе.

Новиков шел впереди, раздвигая студено-скользкие ветви, возникал и спадал шорох листвы над головой. Срываясь с ветвей, роса брызгала в лицо, слепила глаза, увлажняла рукава шинели; упруго цеплялся за ветви ствол автомата. Новикову не было известно, тщательно ли разминированы кусты, только наверняка знал он, что наше и немецкое минное поле начиналось вплотную за кустами. Однако он шел, не останавливаясь, не изменяя направления, упорно и заведенно продираясь сквозь мокрую чащу. Он не считал себя, вернее, приучил не быть преувеличенно осторожным, но случайная смерть от зарытой мины, на которую можно наступить лишь потому, что человеку свойственно ходить по земле, казалась ему унижительной, бесцельно-глупой, и это ожидание взрыва под ногами раздражало его.

«Где начинаются и кончаются случайные немецкие мины? – думал он. – Где?»

Здесь, под прикрытием кустов, они двигались в рост но ничьей земле, и Новиков напряженно всматривался в холодный сумрак, в подстерегающе-металлический блеск росы на траве, на листьях, чувствовал в ногах, во всем теле знакомую настороженность, готовый мгновенно вскинуть автомат в тот короткий момент, который решает все, – кто выстрелит первым. Он спешил и на ходу часто взглядывал на часы – отпра-

женный месяц кошачьим глазом вспыхивал на стекле.

И все время, не угасая, его мучила мысль о том, что немецкая атака повторится этой ночью – через два часа, через час, через тридцать минут, но, что бы ни произошло сейчас и ни случилось, они должны были успеть к орудиям до начала новой атаки. Должны были успеть...

– Шире шаг, не отставать! – поторопил шепотом Новиков. – Идти точно за мной. Ни на метр в сторону.

И, подав команду, остановился внезапно, подняв и с осторожностью отпуская рукой отогнутые ветви, и сразу идущим сзади стало слышно, как зашлепала роса по палым листьям. Тишина – и лишь громкий стук капель.

Порохонько, втягивая воздух ртом, едва не натолкнулся на Новикова, зло обернулся к Ремешкову, шагавшему с низко нагнутой головой.

– Стой! – прошипел он сквозь зубы.

И Ремешков вскинул бледно-зеленое лицо, замер, часто задышал, вытягивая губы, – хотел спросить что-то, но не спросил, только сглотнул, задохнувшись.

Новиков и Порохонько стояли впереди.

По тому, как лунно и пустынно засинело впереди, по тому, как тихие квакающие звуки донеслись откуда-то слева, от озера, Ремешков понял, что кусты кончились и за ними голое чистое поле до самой возвышенности, где оставались орудия Овчинникова, откуда давеча бежали... Утром здесь были немцы.

Ремешков с морозящим его ужасом, с ожиданием смотрел на зашевелившиеся в кустах спины Новикова и Порохонько – они молча глядели сквозь ветви на синее впереди поле. И оттого, что его прерывистое, шумное дыхание, казалось, заглушало все и поэтому он плохо слышал, и оттого, что они непонятно молчали, а он не видел и боялся увидеть то, что видели они, Ремешков, сдерживая стук зубов, ощущая ознобное мление под ложечкой, ожидал сейчас одного – резкой, беспощадной команды Новикова: «Вперед!» («Боже мой, неужто он не боится умереть?») Вот сейчас, сейчас «вперед!» – и оглушительный встречный треск пулеметных очередей, трассирующие пули, летящие в грудь... Они здесь были. Ведь здесь были немцы, танками окружили со всех сторон орудия. Он сам видел их, когда отходили с Овчинниковым.

«Маманя, помоги, маманя, помоги, может, и не вернусь отсюда! Может, погибну. Маманя, помоги...» И хотя Ремешков никогда не верил в бога, ему хотелось страстно, горячо, иступленно молиться кому-то, кто распоряжался человеческой жизнью и его жизнью и судьбой. «Если ты есть какая судьба, то помоги, не хочу умирать, ведь рано мне! Колокольчикова убили, так спаси меня...»

– Тихо! – еле различимым шепотом приказал Новиков. – Вы что, Ремешков? Тихо! Приготовиться! Прорываться будем!

И Ремешков, не замечая того, что делал, повалился, сел

на землю, хватаясь за кусты, – ноги ослабли.

Но в эту минуту ни Новиков, ни Порохонько не заметили этого. Они следили за чем-то сквозь ветви.

Каленый свет месяца мертвенно заливал полого подымавшееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля, оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, тянущейся к ало-голубой глади озера, возникали и пропадали неясные, отрывистые металлические звуки, и справа среди обугленных силуэтов сожженных танков тревожно, однотонно кричала какая-то птица. И другая заглушенно, призывно отвечала ей дальше и правее, из минного поля.

– Что за черт! Слышите? И птицы... на кой здесь? – шепотом выругался Новиков, не спуская зарябивших от напряжения глаз с поблескивающей котловины; не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц, похожий на зов журавлей.

– Побачьте-ка, – как клещами сжав локоть комбата, прошептал Порохонько, обдавая табачным перегаром. – Видите? Во-он двое пошли... Видение? Нет?

Две темные человеческие фигуры бесшумно шли по дну котловины метрах в сорока от кустов, один нес что-то, потом оба согнулись, исчезли; и тут же с чувством нависшей беды увидел Новиков еще троих. Вернее, сначала уловил справа от кустов неопределенное угасающее позвякивание – из си-

него сумрака выдвинулись в котловину эти трое. Остановились, поджидая. И как бы оторвавшись от земли, на которой он лежал, видимо, присоединился к ним еще один, стал на минуту против месяца, высокий, без каски, длинноголовый, на груди мотался автомат, – Новиков хорошо различал его, – и припал к земле, слился с ней.

«Разминируют поле? Значит, это саперы, немцы, – подумал Новиков, уже сознавая, что не ошибся, не мог ошибиться. – Так вот почему они прекратили атаку!»

– Що будем делать? – опять, обжигая табачным дыханием, прошептал Порохонько. – А, товарищ капитан? Подождем, пока утопают, а? Не?

Новиков сказал, отступив на шаг, продолжая глядеть в котловину:

– Ждать нельзя, будем прорываться к орудиям! Броском вперед, больше огня – прорвемся!

И сдернул с плеча автомат, перевел рычажок на очереди, совсем беззвучно двинул затвором, угадываяще посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, будто земля подбросила его. Цепляя ремнем за уши, за воротник шинели, стащил автомат, распрямляясь перед Новиковым как на ватных ногах.

«Вот оно, в конце войны, вот она, судьба! Да как же это? – мелькнуло у Ремешкова. – Господи, как же это?»

Рвущий воздух треск распорол и точно оттолкнул к небу тишину, слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова; и, зажмурясь, затем разомкнув веки,

увидел он, как сквозь синее стекло, впереди себя Новикова. Стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, что-то кричал не оглядываясь, а в нескольких метрах от него как бы прыгала над землей только одна спина Порохонько, без ног, без рук, из-за этой спины рвалось что-то обжигающе-огненное. Спина близко повернулась на мгновение к Ремешкову, появился раскрытый криком рот. Тотчас мимо него наискось промчался сноп пуле-метных трасс, другой, длинный, прерывистый, вихрь сверкнул мимо плеч Новикова – и все впереди, справа и слева заклокотало, сдвинулось, забилося, крутятся и качаясь в раскаленной карусели. И лишь сейчас понял Ремешков, что он не в кустах, а бежит вниз, в котловину. Задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулось на него, твердо ударило в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за это живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание: разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта.

Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями. Ремешков откинулся, закричал дурным голосом:

– А-а-а, га-ад! – Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги («Автомат, автомат скорей!»), и, торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю

очередь выпустил в это по-заячьи вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо.

«Я убил его, – мутно скользнуло в сознании. – Сволочь, к горлу тянулся! Сволочь паршивая! К горлу...»

Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения, он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства, незнакомо охватившего его, оглянулся, ища глазами Новикова: «Где капитан? Где капитан?..»

Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины, и Ремешков, не увидев вблизи Новикова, не найдя его, бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат. Заметил впереди зазубренное клокочущее пламя, оно мигало, увеличивалось, выбрасывая пунктиры пуль по скату. И он, охваченный бешенством, обливаясь потом при мысли о тех руках, о перекошенном лице, которое только что видел, суетливо вскинул автомат, полоснул длинной очередью. С наслаждением, со злобой радостью дергая спусковой крючок, запомнил, как оборвался клекот там, в траве. «Задушить, сволочь паршивая, хотел, задушить!..»

А ноги несли его туда, на скат, где, перемещаясь, дробилось пламя, сталкивались, взвивались нити трасс. И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, доносились до слуха Ремешкова знакомые громкие оклики, а он не мог сразу ответить, не мог разглядеть того, кто звал

его.

– Ремешков! Сюда! Ко мне!

«Это капитан Новиков, его голос, он кричит! Да что же я молчу? Ранен он, может?..» И он выдавил из себя шепотом:

– Я здесь...

Задыхаясь, он увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова – он почему-то не бежал вверх по скату, а опускался, пьяно покачиваясь, в котловину; отчетливо бросилось в глаза до фиолетового свечения накалившийся ствол автомата и то, что на капитане не было фуражки; трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину.

– Ремешков? Вы это? Быстрее! – крикнул Новиков не то радостным, не то полувопросительным голосом. – За мной! За мной!.. Ремешков!..

И, выкрикнув это, задержался на секунду, рывком поднял раскаленный автомат, выплеснул куда-то вправо очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, снова спросил резко:

– Не ранены?

– Нет, – просипел Ремешков.

– Вперед! К Порохонько! Вверх, вперед!..

«Это он за мной вернулся, за мной?» – пронеслось в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь вскинул сверкнувший ствол автомата, он всем телом рванулся к Новикову, навстречу сухому, захлебывающемуся треску очередей,

обессиленно прохрипел со слезами, душившими его.

– Товарищ капитан... бегите... Я здесь, я... вас прикрою... товарищ капитан... бегите...

Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова.

– Вперед!..

– Товарищ капитан!..

– Вперед! – крикнул Новиков и круто выругался.

И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх по пологому скату.

Тишина, душная, беспокойная, распростершаяся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиции Овчинникова. А они не могли уже называться позициями. Там не раздавались голоса, не вспыхивал огонек зажигалки, прикрытый полой шинели, не звучали шаги в ходах сообщения, не сменялись часовые. Там, в пятидесяти метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликнулся на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли.

А в блиндаже еще были живые.

В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей – тянулись вертикально, фитили в плосках горели слабым огнем.

Ночь вползла на огневую, и в блиндаже все прислушивались, застывшими глазами глядели на языки свечей, ожидая, когда вздрогнут они от разрывов, – понимали: это вздрагивание плосек будет последним, что смогут увидеть они.

Все знали: одно лишь живое дыхание было там наверху – в четырех шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он курил (слышно было, как кресал зажигалкой), звучно сплевывал, ругаясь («Гады, что задумали?»

Куда расползлись все?»), иногда, громко кусая, принимался жевать галету, беззлобно ворча («Обман серый, солому прессуют!»), порой постукивая каблуком, вполголоса напевал нечто длинное, бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности:

Ты не стой, не стой
На горе крутой,
Не целуй меня,
Хулиган такой.
Рыбачок милой,
Дурачок ты мой,
Эх, трим-би-би, эх, трим-би-би...

И когда, оборвав нелепую эту песню, перестав курить, ругаться и сплевывать, он замолкал, опять гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала огневую, блиндаж. Тогда затихал, переставал стонать раненный в бедро связист Гусев и, поворачивая голову, удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Лягалов возле него.

– Что это он, Лена?

Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками, переводил взгляд с огоньков плашек на Лену, сидевшую на снаряжном ящике; вслушивался в безмолвие наверху.

– Заснул? Вроде петь перестал... Заснет он, возьмут нас тут, как кур... Вот парнишку жалко, – и сожалеюще кивал в сторону Гусева.

– Вам не нужно беспокоиться, милый, лежите, ни о чем не думайте, – говорила Лена ласково-успокаивающим тоном. – Все будет хорошо, милый...

Но она не верила в то, что говорила. Слишком хорошо понимала, что орудия отрезаны от батареи, что она и Горбачев не смогут долго выдержать здесь. И эти наплывы тишины на блиндаж почему-то связывались с бесшумно, как из земли, возникшими фигурами немцев на бруствере. Горбачев не успеет дать очередь, крикнуть...

Маленький пистолет, вынутый из кобуры, лежал, поблескивая, на столе – то ли оставленный с целью, то ли забытый лейтенантом Овчинниковым. То, что было сделано лейтенантом Овчинниковым, что произошло после его ухода, виделось как сквозь серую, знойную пыль. Не было сил восстановить в памяти все: были бесконечные пороховые удары в уши, чесночно-ядовитый запах гильз, запах пота, крови, влажных и теплых бинтов. И все время хотелось пить, а потом назойливо, липко, как желание вспомнить что-то, преследовало ощущение вязкой тишины, чего-то неясного, незавершенного, тягостной необлегченности.

– Водицы бы, Леночка, глоточек бы... Жжет все...

Лена встала, подошла к нарам.

Лягалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду, открыл

глаза, почти белые от боли; некрасивое, как-то сразу обросшее лицо его было синей бледности, обметанные, уже тронутые смертью губы почернели, выделялись четко. Он шептал просительно:

– Водицы бы, Леночка... холодной. – И сморщился виновато и жалко. – Или кваску бы... со льда. Газировку бы... тоже...

– Потерпите немножко... нельзя вам, нельзя. Немножко потерпеть, несколько минут. Несколько минут... Скоро в медсанбат, там врачи, все, – убеждающе заговорила Лена, поправляя под головой его сложенную, пропахшую порошком шинель. – Нельзя вам воды, нельзя.

Лягалов облизывал губы, не понимая, остановив углубившиеся глаза на наклоненном лице ее. Как бы пересиливая себя, он особо внимательно слушал ее голос и что-то еще другое, что было слышно только ему за этим голосом, то, что происходило, казалось, за спиной Лены. И как-то уж очень покорно, согласно он перевалил на шинели голову вправо и влево, и, глядя в потолок блиндажа, сказал осмысленно:

– До медсанбата... не дотерплю.

– Вы будете жить, врачи сделают операцию. Обязательно сделают. Нужно потерпеть... Потерпеть...

Она зашептала эти вынужденные и нежно-обманчивые слова, что всегда зачем-то говорят умирающим с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим, смутно чувствуя – эти ложные слова приносят умирающему

последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе.

Он был тяжело ранен в живот осколками сбоку. Она, перевязывая его, видела страшную рану, знала, что перевязка безнадежна, не нужна, что ни медсанбат, ни лучший госпиталь не помогут. А он, не видя своей раны, вероятно, тоже чувствовал это непоправимо надвигающееся на него, но гораздо глубже, мучительнее, сильнее, чем она и все остальные, кто еще жил хотя бы маленькой надеждой... Ее не было у него, этой надежды.

И она поняла это.

Лягалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, может быть, что ни она, ни все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать, но ничего не объяснил, лишь посмотрел на нее, горько, умоляюще задрожали веки.

– Воды, Леночка... Холодной бы... Поспешать мне... не дотерплю...

– Хорошо, – беззвучным движением губ проговорила Лена. – Хорошо.

И чуть прикоснулась, провела ладонью по его липкому, жаркому лбу и отошла. Некоторое время с закрытыми глазами, не шевелясь, стояла спиной к Лягалову возле снарядного ящика, чувствовала, что он осмысленно ждет, потом неуверенно вынула чайную ложечку из сумки. То, что она делала, преодолевая сопротивление в себе, не было жестоким обманом ни его, ни себя. Это было последнее, что она могла сделать для него.

«Кажется, это он сказал, что готов воевать двести раз, чтоб только не было женщин на войне, – почему-то подумала она, отвинчивая пробку фляжки. – Да, это он сказал тогда ночью».

– Только спокойно, милый... Не двигайтесь, глотайте, – заговорила Лена ласково чужим голосом, садясь у изголовья Лягалова, и налила в ложечку воды. – Сейчас не будет жечь, пройдет... Все пройдет...

Лягалов пил из ложечки, глотая и всхлипывая, тянулся к ней, как ребенок, и она, тихо глядя его покрывшийся испариной лоб, с ужасом думала, что эти ложечки вливали в него глотки смерти. Но все же наполнила последнюю ложечку, зная, что жажда при ранении в живот страшна, люди, мучаясь мыслью о воде, умирают тяжело и медленно.

Она дала ему четыре ложечки, сидела, охлаждая ладонью влажный лоб его, сама чувствовала, как горячи, трепетны стали пальцы. И она сняла руку. Лягалов застонал, глаза закрыты, словно тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу.

– Знал я, – прошептал он.

– Что? – спросила Лена. – Что?

– Как будто знал я... – Он слабо поднял безжизненную руку на грудь, обессиленно пошевелил пальцами. – Здесь вот... В сердце было...

– Что было? Что?

– Приснилось... вчера... – выговорил Лягалов, открывая

глаза, полные слез. – Вернулся я... После войны... Ребятишки вокруг. А жена отвернулась, поцеловать... не захотела... А я ведь души не чаял. Красивая... а за меня, урода, пошла... И ребятишки, четверо. Как же это, а? Разве я виноват, что меня... убило? Разве виноват?..

И вдруг беззвучные рыдания искривили некрасивое лицо Лягалова, сотрясли все его тело, и он, замычав, отвернулся к стене, как-то стыдливо замолк, будто захлебнулся внутренними слезами, шепча:

– Это я так... это ничего... Ты меня не слушай, Леночка... Пройдет... мне бы Порохонько еще увидеть... Я ведь любил его... уважал...

Лена молчала.

– Вот тебе и герцогиня польская, шут ее возьми, – закричав, произнес Сапрыкин.

Он слушал Лягалова, приподнявшись на локтях, свет падал на седые виски; когда же донеслись звуки, похожие на сдавленные стоны, опустил перебинтованное свое тело на солону, проговорил успокоительно:

– Порохонько тоже любил тебя, Лягалов... Только остер на язык... А так добрый он человек. – И хмуро покосился в сторону Гусева. – Вон и Гусев чего-то заговариваться стал. Плохо, что ль, ему, Елена? Лопочет чегой-то мальчонка.

Гусев лежал, укрытый шинелью до подбородка, молоденькое, почти ребячье лицо его заострилось, моталось из стороны в сторону. Он бормотал, задыхаясь:

– Я связист Гусев, а остальные тут одни... убитые. Овчинникова нет, одни убитые... Снарядов пять штук... А мне постели на диване, мама... В шкафу простыни-то... в шкафу...

Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена отогнула воротник шинели, корябавший Гусеву подбородок, некоторое время стояла, задумчиво смотрела то на Гусева, то на этого пожилого, спокойного, все понимающего Сапрыкина. Сапрыкин глядел на нее устало, сочувственно, и что-то догадливые замечала она в глазах его. Было тихо. Давящее безмолвие висело над блиндажом. И сквозь это безмолвие вполз в блиндаж громкий шепот от входа:

– Лена, ко мне! Сюда!..

Лена не вздрогнула, но сразу очень уж решительно схватила пистолет на столе, сказала:

– Это меня. Поглядите здесь.

Сапрыкин сел.

– Сперва, Лена, подала бы мне автоматик, – медленно сказал он. – Вот сюда, под руку мне. – И заговорил, хмурясь на огни плошек: – Я свое пожил. И в ту войну Советскую власть защищал, и в эту пошел. Два сына взрослые у меня, оболтусы здоровые. – Усмехнулся одними глазами. – Недаром прожил. Так вот что... – Он передохнул, глянул на дверь – из тишины от орудия вторично и громче донесся голос Горбачева:

– Лена, сюда!..

И Лена, надевая на ремень игрушечно-маленькую лаки-

рованную кобуру, потрогала пистолет, внезапно вспомнила недавние слова Овчинникова: «Убить из него нельзя, а так, поранить можно», – и, быстро застегнув ремень, чувствуя неудобное прикосновение кобуры к бедру, она качнулась к Сапрыкину, поторопила его взглядом: «Говорите, я слушаю».

А он с трудом сидел на нарах, опираясь двумя руками, неглубоким дыханием подымал всю в бинтах грудь; густая седина светилась в его волосах.

– Так вот что, Елена... Запомни и с своей совести это возьми... Меня и их, – проговорил твердо Сапрыкин и кивнул в сторону Гусева и Лягалова, – на себя возьму. Мои солдаты, мне и отвечать. На том свете разберемся... Живьем не отдам – не-ет! Только когда невтерпеж станет там, наверху, ты сообщи: мол, давай, Сапрыкин, мол, последний звоночек с того света... Ну, иди, иди!.. Да больше о себе помни да о Горбачеве, вам жить да жить. А война-то вон к концу... Детей еще народишь...

Лег он, постепенно опускаясь на дрожавших от усталости руках, влажно заблестело немолодое грубоватое лицо, неожиданно улыбнулся, обнажая щербинку в передних зубах. Никогда не видела Лена, как улыбался он, и никогда не замечала эту щербинку у сержанта.

– Детей еще народишь, – повторил он и обессиленной рукой махнул. – Только не перечь мне, ради бога... Иди!..

И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он

понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. В разведке она давно привыкла к тому, что тяжелораненные на нейтральной полосе почти никогда не попадают в плен. За два года она и себя приучила к этому. Но ни Сапрыкин, ни Лягалов, ни Гусев не были разведчиками. И, поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена все же повернулась около двери, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия, и которая еще тлела в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказала не то, что хотела сказать:

– У нас еще пять снарядов. И пулемет. Я ведь тоже умею стрелять.

И с решимостью, толкнув коленкой дверь, вышла в лунную свежесть ночи.

Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то. Не поворачивая головы, позвал шепотом:

– Лена, давай сюда. Что-то в башке все спуталось. – Отодвинул диски, освобождая место. – Ложись, не стесняйся...

Она легла рядом на холодный от земли брезент, посмотрела на лицо Горбачева, в упор освещенное месяцем.

– Устали? Дайте-ка я подежурю. Можете идти в землянку, – сказала и смело положила ладонь на его руку, охватившую спусковую скобу.

Он пошевелился, но локти от пулемета не убрал, только подмигнул утомленно, дружелюбно, лицо было неестественно зеленым, щеки втянулись, черные волосы упали на черные с блеском глаза, из широко расстегнутого ворота виднелась сильная ключица. Прошептал полушутливо:

– Мне эти санитарные жалости до феньки! Ясно, Леночка? Хотя и люблю вашего брата, за эти пальчики жизнь бы отдал, аними их. Чуешь – обалдел? В глазах кровавые танки мерещатся. Зрение у тебя хорошее? Слух?

– Подите к черту, – сердито сказала Лена, не принимая полушутливого тона его.

– Ясно. Посмотри-ка сюда, вперед, – зашептал Горбачев, – вон туда, на танки. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее...

Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивой руки Горбачева, маленькая чужая кобура сползла по ремню, жестко впиалась в бок. И это беспокоило ее, как и огненный зрачок месяца над высотами Карпат, светивший навстречу, в глаза. Вокруг синел лунный сумрак. Поле вокруг огневой было полно черных кривых силуэтов сожженных танков. Тошнотворно пахло горелой броней. Метрах в пятидесяти впереди мутно серебрились редкие кустики, справа широкими застывшими пятнами обрисовывались два тяжелых танка. Косые тени густо падали перед ними. А между этими тенями сквозил, лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света. И что-то еле заметно, осторож-

но передвигалось там, заслоняя светлый коридор. Одиноким зовущий крик птицы отделился от танков, прозвучал в зыбком воздухе, смолк. И вскоре другой крик прерывисто, громко отозвался с минного поля, правее танков, и тоже умолк. Неясно различимое движение в светлой полосе возникло отчетливее. Двое людей отделились от земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве, перебежали, низко пригибаясь, несколько метров по скату и растаяли в сумраке котловины.

– Это немцы, – сказала Лена и откинула волосы со щеки. – А эти птичьи крики – сигнал. Я знаю по разведке. Что ж вы, Горбачев, смотрите? Патронов нет? – спросила она быстро. – Они же идут по проходу в минном поле. Нашли проход... Разве вы не видите?

Горбачев прислонился переносицей к прикладу пулемета, молчал так томительные секунды и вдруг, очнувшись, сбоку прищурился на тонкий профиль Лены, – она чувствовала его взгляд, – сказал:

– Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют! Вот гадюки! Значит, или разведка, или поле разминируют? Так? Готовятся? – И, ожесточаясь разом, подтвердил: – Или разведка! Или саперы!

– И то и другое может быть, – ответила Лена, стараясь говорить спокойно. – Стреляйте, не ждите. Когда они пройдут по проходу, поздно будет. Тогда будет поздно!

– Эх и умна ты, девка, ох умна-а! – с восхищенным вздо-

хом произнес Горбачев, посовываясь к пулемету. – Эх, не будь этой катавасии, раскинул бы я сети, зацеловал бы, заласкал насмерть! Рядом с тобой умирать страшно: кто тебя целовать будет – наши или чужие?

– Не беспокойтесь. Никто.

– А чья ты? А, Леночка? Алешина? Капитана Новикова? Что-то не пойму...

Сказал это уже серьезно, удобнее раздвинул локти, и, прижимая к ключице приклад пулемета, он ждал длительную минуту, остро прицеливаясь. Она успела заметить бесшумное движение теней в лунном коридоре – внезапно над ухом очередь прорезала тишину, эхо гулкой волной ударило по котловине. Возле самого лица забилося, дробясь, пламя пулемета. В всплесках его мелькали стиснутые зубы Горбачева, прыгали черные волосы на лбу. И все смолкло так же внезапно. Горбачев, не спуская черно-золотистых глаз с лунного коридора, крикнул Лене, еще полностью не ощутив после стрельбы тишину:

– Давай в блиндаж! Сейчас начнут! – И добавил непредвиденно злобно: – Не могу я видеть рядом женщину, тебя не могу! Матерюсь я, как зверь! Слышь!

Она не встала, не ушла, улыбнулась ему понимающе-мягко, взглянув из-за светлых волос, упавших на щеку, потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила:

– Полный диск? – И отвела пальцами волосы от щеки. – Я ведь тоже умею стрелять.

Она выпустила две длинные очереди туда, в светло-дымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение, и снова отвела волосы со щеки. И больше ничего не сказала ему, лишь по-прежнему улыбнулась мягко.

Он смотрел на нее сбоку, снизу вверх, скользнул черными прищуренными дерзкими глазами по ее нежно округлой шее, подбородку, губам, лбу, коротким волосам. Потом придвинулся, сказал уверенным шепотом:

– Если что случится такое, Леночка, я расцелую тебя. Так я с этим светом не прощусь!

– Глупый, – сказала она снисходительно-ласково. – Тогда я сама поцелую тебя...

Они замолчали. Смотрели вперед на залитую месяцем дорожку между танками. Молчали и немцы. И было непонятно: почему не отвечали они огнем, ни одним выстрелом, будто не было их там. Отдаленный крик птицы донесся откуда-то снизу, с минного поля, никто не ответил ему. Все стихло. Было в этом затишье что-то необычное, подозрительно-тайное, отзывалось тревожно-ноющим ощущением в груди.

– Слышите? – шепотом спросила Лена.

Едва уловимые тонкие звуки возникали за спиной на той стороне озера, они плыли оттуда прозрачным, знойным облачком, зыбко стонали в синеве ночи. Они пели, эти звуки, о чем-то сокровенном, несбыточном. Саксофон звучал целлулоидной вибрацией, перламутровая россыпь аккордео-

на, женский голос на чужом языке томительно и бесстыдно убеждали кого-то, что мир прекрасен, влюблен, что где-то за тридевять земель есть электрические огни, блеск зеркал и люстр, рестораны, хорошее вино, не забытый запах женских духов, чистое белье, запретные наслаждения: «Потерпи, солдат, пройди сквозь грязь, нечистое белье, кровь, и ты обретешь все это».

– Успокаивают себя, – сказала Лена задумчиво.

– Похоже, и нас. На психику нажимают, – ответил Горбачев и почесал переносицу о приклад пулемета. – Патефон крутят. Как вчера ночью. Джаз. Эх, Леночка, и давал я прежде стружку, на всю железку! – Горбачев вздохнул. – Рестораны любил, музыку, девушек, жизнь любил до невероятия! Да и она любила меня! У нас, у рыбаков, деньги были легкие. Сотни шуршали в карманах. Официанты всей Астрахани знали: Григорий Горбачев с бригадой гуляет. По этому делу на собраниях чесу нагоняли, а сейчас приятно вспомнить! А у меня бригада была – орлы парни, девчатки – красавицы. По две, три нормы давали. Портреты, слава! Потом – земля на опрокид! Поняла юмор этого дела? Знаешь песню?

Стели, мать, постелюшку
Последнюю неделюшку,
А на той неделюшке
Расстелем мы шинелюшки.

Лежа с автоматом, Лена улыбнулась все так же задумчиво.

Патефон в немецких окопах стих – исчезло над озером плавающее звуковое облачко, этот далекий раздражающий отсвет чужой несбыточной жизни. Месяц переместился – лунный коридор сдвинулся по траве между угольными тенями танков, сузился, сквозил тоненькой щелью. И ничего не было видно там. Стояла в котловине тишина. Только со стороны зарева, встававшего справа за котловиной, над высотой, долетали перебаты боя. Лена сказала полувопросительно:

– Если они прощупали проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?

– Нет.

– Тогда не надо беречь патроны...

Она не договорила, удобнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями по тихо-светлой щели между танками. Сделала паузу, ожидая ответного огня. Оттолкнула волосы со щеки, возбужденно сказала Горбачеву:

– Если это разведка, то их немного. Они могли уже прийти.

Немцы молчали. Снова поплыло звуковое облачко от той стороны озера, сосредоточенно и иступленно выбивал синкопы барабан, китайскими колокольчиками звенели тарелки...

И тут порывистый грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудия. Потом неясный, какой-то заячий вскрик донесся оттуда, и сейчас же впереди

заливисто зашили немецкие автоматы – на слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева. Лена села, поправила кобуру.

– Они прошли! – сказала она. – Это они...

Горбачев вскочил, сдернул с бруствера пулемет, рванулся к правой стороне огневой, крикнул:

– Диски неси! Началось! Быстрее!..

И, упав на колени возле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в котловине, на спутанные трассы, изо всей силы втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги. Взглядом ловил основание трасс, они возникали вблизи огневой светящимися веерами, резали по кустам по ту сторону котловины. Это стреляли немцы.

– А, гады!

И он тут понял, что от орудий Новикова прорывались сюда, что немцы все же прошли через минное поле в котловину, что наши столкнулись с ними. И когда Лена поднесла запасные диски, перекошенное от злобы лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложе, опаленное красными выплесками пулемета.

– А, гады! Прощи-таки, прошли! – И, быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавшей над бруствером ствол автомата: – В землянку! К раненым! Да нагнись ты! Ухлопают дуриком!

И почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. А она не почувствовала боли от удара его руки,

с тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата. Выстрелила длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились, они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст. Она прислонила автомат к брустверу, сказала громко, сдерживая дрожь в голосе:

– Нас все же двое, слышишь? Я умею стрелять, ты это видел, – и пошла к блиндажу.

Она задержалась в ходе сообщения, стараясь делать все расчетливо-спокойно, и здесь, испытывая ненависть к себе, почувствовала, что не слушаются пальцы рук, горит плечо и что-то горькое, острое стоит в горле, трудно дышать. Она вспомнила: «...звоночек с того света», – и торопливо раскрыла дверь в нагретый полусумрак блиндажа. Ощупью спустилась по трем земляным ступеням. Запахло теплыми бинтами.

Слабо стонал, всхлипывая, Гусев, неподвижно-плоско лежал Лягалов лицом к стене. Огоньки плашек чуть приседали, шевелились. И Сапрыкин уже не лежал – сидел на нарах, столкнув шинель на пол, держал автомат на коленях, с вниманием глядел на беспокойные язычки свечей. Вздрыгнул плечами, услышав шаги Лены, обратил взгляд, догадливый, умный, на ее лицо. Судорога, похожая на улыбку, тронула его губы, показывая шербинку меж зубов. Спросил:

– Началось?

– Все скоро решится, – ответила Лена. – Ложитесь, Са-

прыкин, поставьте автомат. И успокойтесь. Что Лягалов? Ничего не просил?

– Уснул. Все про детишек бредил, про жену. Прощения у кого-то просил. А потом уснул.

– Бедный, – сказала она с состраданием.

Она наклонилась над Лягаловым, посмотрела и сейчас же выпрямилась, брови задрожали, подошла к двери блиндажа, потом к столу, где покойно, напоминая о мирном уюте, блестя в свете колеблющихся плашек чайная серебряная ложечка, затем снова вернулась к двери и снова к столу. И, глядя сухими темными глазами, присела на ящик.

– Что? – спросил Сапрыкин обеспокоенно. – Спит? Что молчишь, Елена?

А она, закрыв глаза, – синие тени легли под ними, – отрицательно, жалко покачивала головой с выражением страдания.

Распахнув дверь в блиндаж, он вошел, еще стискивая одной рукой автомат на груди, пошатываясь, сбежал по земляным ступеням, на ходу вытирая рукавом пот с лица. Тонкое шитье автоматов, не смолкая, доносилось сверху. Горела лишь одна плашка, тускло освещая нары блиндажа. Он остановился в полутьме, окликнул хриплым, сорванным голосом:

– Лена!..

Она сразу не узнала его, не узнала голоса, не увидела лица – поднялась от стола, движением головы откинула волосы и некоторое время стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, даже испугом, а он стоял в нескольких шагах от нее, в тени, не двигался. Она хотела произнести: «Новиков?» – но не сумела, не могла понять, почему он сам здесь.

– Лена, все живы? Здесь раненые? – спросил он уже громко, и это был его голос, Новикова.

Он шагнул из тени на свет, к столу, прямо к ней, и тут же она ясно увидела его лицо: незнакомо худое, осунувшееся, в потеках пота на щеках, темнели разводы крови на виске, на влажно слипшихся волосах. Был он без фуражки, на обнаженной шее – ремень автомата, непривычно распахнута шинель и вольно расстегнут был ворот гимнастерки с оторванной с мясом пуговицей. И все это как-то меняло его, прибли-

жало к ней неузнаваемо, сокровенно, родственно. Она молчала, глядя на его лоб взглядом, готовым к ужасу.

– Лена! Ну что это вы? – Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она.

Уголки ее губ жалко и мелко задержались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным. И, сдерживая себя, потянулась за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шее, чувствуя, что руки Новикова не отпускают, скользят по спине, по затылку, прижимают ее голову и автомат больно впивается ей в грудь. И эта боль отрезвила ее. Она сказала наконец:

– Лягалов умер... С Гусевым нужно торопиться. Немедленно в госпиталь. Немедленно...

Он, все держа ее за плечи, со смущенной неловкостью, неудобством отстранил, спросил, хмурясь:

– Только зачем слезы?

– Нет, это не слезы, я не умею плакать! – зло, ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо.

И вся подтянувшись на цыпочках, отвела мокрые слипшиеся волосы на его виске, поспешно отошла к столу, выдергивая вату из сумки.

– Ранило, да? Подождите, посмотрю...

– Царапнуло. Сбоку, – ответил он, бегло оглядывая блиндаж. – Вот что. Немедленно выносить раненых на огневую. Порохонько и Ремешков уже делают из плащ-палатки носил-

ки. На сборы – пять минут. Перевязку потом. Сапрыкин! – непривычно тихо позвал он, разглядев его. – А вы чего же, сержант, как вы? Дойдете – или на носилках? Вытерпите? – И добавил серьезно-грустно: – Эх, парторг, парторг, что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе.

Сапрыкин, мгновенно ослабев, лежал, не подымая головы, перебинтованная его грудь ходила тяжело. Посмотрел на Новикова чистым от боли, через силу спокойным взглядом, ответил еле:

– Что было – не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. Не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон мальчонку выносить надо.

Новиков сказал:

– Я сейчас вернусь. Собирайтесь.

– Куда вы? Зачем? – спросила Лена, смачивая вату из пузырька со спиртом.

– К оружию Лады. Мне надо посмотреть.

– Там все убиты, товарищ капитан, – остановила его Лена. – Все. Я была там утром. Даже некому было сделать перевязку. Вы разве не верите?

– Мне надо увидеть самому, – ответил Новиков. – Самому.

Он вышел. Было тихо. Автоматная стрельба прекратилась. Воздух стал жидким, сине-фиолетовым – месяц набрал высоту, далеко светил над проступившими вершинами Кар-

пат, слева от зарева.

На огневой, переругиваясь наспех, задевая сапогами за станины, громко дыша, возились с плащ-палатками согнутые фигуры Порохонько и Ремешкова. Горбачев лежал, дежурил у пулемета, звучно сплевывая через бруствер; казался равнодушно-спокойным. Увидев Новикова, спросил безразличным тоном:

– Этим же путем прорываться будем? Ползают они тут в котловине, как клопы. А?

Новиков надел фуражку, которую засунул в карман, когда прорывались к орудиям, ответил:

– Этим же путем. Вы вот что: в крайнем случае прикройте меня огнем. Пойду к четвертому орудию.

Орудие старшего сержанта Лады стояло в сорока метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул он через полусметенный осколками бруствер – страшная, развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озаренная месяцем. Орудие косо чернело в этой яме, щит пробит, накатник снесен. Затвор открыт, повис, круглое отверстие казенника зияло, как кричащий о помощи рот. Запах немецкого тола еще не выветрился за день и ночь, сгущенно стоял здесь, будто в чаше.

Новиков огляделся, пытаясь найти то, зачем шел сюда, что было его людьми, расчетом орудия, но не нашел того, что бы-

ло людьми, а то, что увидел, было страшно, кроваво, безобразно, и он никого не мог отличить, узнать по лицу, по одежде. Осколки разбитых пустых ящичков из-под снарядов валялись тут же, мешаясь с клочками шинелей, обмоток, разбро-санными, втиснутыми в землю гильзами, а он все искал среди этих обломков ящичков, среди гильз, отбрасывая их руками, искал то, что объяснило бы ему, как погибли его люди.

Он не нашел ни одного целого снаряда даже в нишах, стало ясно: они расстреляли все. Потом шагнул к сошникам. Что-то холодно переливалось под месяцем, отблескивало там в воронке. Он нагнулся, поднял влажный от росы кусок гимнастерки, на нем – колючий, исковерканный, без эмали орден Красной Звезды. Он смотрел на него, никак не мог вспомнить, чей это был орден. И, не вспомнив, сунул в карман шинели.

Он знал, что надо уходить, но почему-то не было сил уйти отсюда, что-то притягивало его сюда, – он должен был понять все.

Он обошел вокруг бруствера огневой позиции, рассматривая воронки перед орудием, и здесь, в трех шагах увидел слева от позиции, в командирском ровике нечто круглое, неподвижное, темнеющее на бруствере. Он спрыгнул в мелкий ровик и только теперь близко различил человека, грудью лежащего на бруствере. Лежал он в одной гимнастерке, сторбившийся, лицом вниз, уткнув лоб в руки, в сжатые кулаки, словно думал; темный, замасленный погон вертикаль-

но торчал, на нем светились вырезанные из консервной банки оружейные стволы, аккуратной полоской белел воротничок, который, вероятно, был пришит перед боем. Бинобль валялся рядом.

Это был старший сержант Ладья.

Новиков осторожно положил Ладью в ровик – плечи сузились, он стал совсем маленьким, голова Ладьи откинулась назад, странное выражение торопливости, невысказанного отчаяния застыло на лице его. Все шесть орденов справа и слева на его неширокой груди были залиты чем-то темным. Видимо, в последнюю минуту подавал он какую-то команду, но она не достигла орудия, – может быть, не было уже никого там в живых.

Он погиб в отчаянии, уткнувшись лицом в руки.

И тогда понял Новиков, как погиб Ладья, весь расчет. Повидимому, в тот момент, когда кончились снаряды, три танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стояли, эти танки. Но кто подбил, сжег их – сам ли он, Новиков, Алешин или Сапрыкин, – ни Ладья, никто из расчета рассказать не мог.

С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия Ладьи. Этого он никогда так остро раньше не испытывал, когда наступали по своей территории, когда не было этих мрачных неприятных Карпат и это-

го незримого дуновения конца войны.

– Кто идет? – шепотом окликнули из темноты.

– Свои.

На огневой позиции все было готово к отходу. Ждали сейчас его. Молча подойдя к орудию, услышал глухие, лающие звуки и заметил между станинами Порохонько. Он выкладывал из ящика снаряды, отворачивая лицо, спина его тряслась, точно давился он; Ремешков с удивленным видом глядел на него, ерзая на коленях рядом.

– Что? – спросил Новиков.

– Не надо его, – ответил негромкий, успокаивающий голос Лены. – Он Лягалова похоронил.

Беспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывая, Гусев лежал на плащ-палатке; Лена что-то бесшумно делала около его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его за спину Горбачев, из-за широкого плеча старшины торчал ручной пулемет, через шею висел автомат. Ласково похлопывая Сапрыкина по локтю, он говорил убеждающим тоном:

– Ты, парторг, на меня опирайся, понял? Цепляйся, как к буксиру, понял? Ты, папаша, тяжел, а я тяжелее тебя. Все будет в порядочке. Понял?

– Эх, графиня польская, полюбовница... не уберег друга, – проговорил сквозь стон Сапрыкин. – Чего же надрываться, Порохонько? Мертвых не воскресишь...

– Приготовиться! – скомандовал Новиков и спросил: – Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?

– Пять. – Сапрыкин качнулся вперед, пытаясь встать. – Пять. Два бронебойных. Три осколочных. Сам считал.

– Порохонько и Ремешков, ко мне! – позвал Новиков. – Готовы снаряды? Зарядить! И слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена. – Он впервые назвал ее при солдатах по имени. – Есть автомат? Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними Порохонько и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я... Направление не терять. Прорваться через котловину к кустам – на высоту!

...В звенящей пустоте после пяти выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой. Быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер – последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину. Люди уже шли по скату, спускались в котловину, удаляясь, и он плохо видел их после слепящих выстрелов орудия. Вскоре впереди зачернели, заколыхались согнутые спины Порохонько и Ремешкова. Он увидел их среди сплошной огненной полосы, – она неслась вдоль котловины; дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера. Пули летели в двух метрах от земли, не повышаясь, не понижаясь.

– По котловине – ползком! – крикнул Новиков. – Лена и Горбачев, вперед!

Он упал на скате – головой к озеру, ему хорошо был виден этот клокочущий пулемет. «А, – сообразил он, – ждали, значит? Догадывались?» И тотчас выпалил очередь, рассчитывая патроны по нажиму пальца.

Шагах в трех от него кто-то вел огонь короткими, экономичными очередями, он сейчас же подумал: «Горбачев!» Но невольно повернулся, взглянул: появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла туда по берегу озера, куда стрелял и он. Вспомнилось, как несколько минут назад она в непонятном порыве страстно, неуклюже прижалась лбом к его шее и как неожиданно смутился он, – может быть, оттого, что крепко пахло от него потом и порохом, и, вспомнив, даже задохнулся от внезапной нежности к ней, оттого, что она сейчас стреляла рядом, эта женщина, которая беспокойно и колюче жила в нем, как он ни сопротивлялся этому. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом:

– Ползком вперед! Вперед, слышите, Лена?

Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась вперед по скату ко дну котловины – светящаяся полоса пуль стремительно потекла над ней. Он видел ее пилотку. «Ее могут убить, могут убить! – пронеслось в сознании Новикова. – Нет, нет, ее – нет!»

Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету, в секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена, где,

сгибаясь, бежали и шли Порохонько и Ремешков, неся Гусева на плащ-палатке. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины.

Впереди с противоположного ската ответно и отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И тоже смолк. Синие огоньки разрывных пуль искристо лопались в траве, в том месте, где захлебнулся пулемет Горбачева. Пули резали по скату.

«Почему он замолчал? Что там? Что они? Где Лена?» – подумал Новиков, не понимая, и вскочил, побежал вниз, в котловину. Он пробежал по дну ее, стал взбираться на противоположный скат, в это время химический, желтый свет с шипением поднялся над берегом, озарил весь скат до отчетливой выпуклости бугорков, рыхлую пахоту глубоких старых воронок. Над головой широко распалась ракета. Одновременно с этим светом в небе внизу, на земле, блеснул другой свет – остро, низко резанула по скату рябящая полоса пуль. Снова четко заработал крупнокалиберный пулемет. Вслед за ним звенящей квадратной россыпью распустились тяжелые мины впереди.

При опадающем свете ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева; Лена полулежа наклонялась над Сапрыкиным, приподымала его голову, кладя к себе на колени, другой рукой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву. А тот бешено бил ладонью по диску пулемета.

– Что у вас? Почему остановились? – крикнул Новиков,

падая рядом. – Почему остановились?

– Заело, сволочь! – разгоряченно выругался Горбачев и изо всей силы ударил по диску. – Перекос, как на счастье! Сволочь!

– Вперед! К кустам! – скомандовал Новиков. – Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина, вперед! К кустам!

Лена отняла фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказала еле слышно:

– Он умер.

– Я говорю – вперед! Сапрыкина не бросать! С собой взять, – повторил Новиков и махнул автоматом. – К кустам! Ну?..

Горбачев с матерной руганью далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился над Сапрыкиным, говоря с решимостью:

– Дай-ка я его возьму, папашу. Эх, не дошел, парторг! Ведь шагал, ничего не говорил. Вон губы в крови. Губы кусал...

– Я помогу, – сказала Лена прежним, непротестующим голосом.

И, помогая Горбачеву поднять тяжелое, обмякшее тело Сапрыкина, она встала. В новом свете ракеты появилось ее лицо, фигура, обтянутая шинелью, блеснула маленькая лаковая кобура на боку. В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом. Но-

виков не услышал приближающегося свиста, сразу не понял, что рядом разорвались мины, только как бы из-за тридевяти земель пробился к нему тихий, удивленный и незнакомый голос: «Ой!» – и сквозь дым увидел, как Лена осторожно села на землю, опустив голову, слабо потирая грудь.

– Лена! Что? – с тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней, и, встав на колени, взял за плечи, почему-то чувствуя, что вот оно случилось рядом, возле него, случилось то страшное, неожиданное, чего он не хотел, что не должно было случиться, но что случилось.

– Лена! Что? Ну говори!.. Ранило? Куда?..

Он не говорил, а кричал и нежно, иступленно, требовательно встряхивал ее за плечи, впервые с ужасом перед случившимся видел, как моталась ее голова, ее упавшие на лицо волосы.

– Куда? Куда ранило?..

– Кажется... кажется... нога.

Он разобрал ее невнятный шепот, выдавленный белыми при свете ракеты, виновато улыбающимися губами, и с жарким облегчением, окатившим его потом, – мгновенно гимнастерка прилипла к спине, – рывком сдвинул автомат за плечи, сказал незнакомым себе, чужим голосом: «Держись за шею», – поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату, первый раз в жизни чувствуя плотное, весомое прикосновение женского тела.

Охватив его шею, она говорила покорно:

– Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю немного. Я умею терпеть...

В кустах он собрал людей – Порохонько, Ремешкова и Горбачева, приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь.

– Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Но ведь медсанбат в городе. А город, кажется, в окружении. Никогда не думала, что в конце войны придется попасть в окружение.

– Дорога на восток уже перерезана. А впрочем, это неважно. Тебя я переправлю, как и Гусева. Горбачев переправит. Он сумеет.

– Завтра. Ранение совсем не страшное. Ничего не будет. Я знаю. Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной?

Он сел возле нар на снарядный ящик, долго молча искал по карманам папиросы. Блиндаж туго встряхивало близкими разрывами, земля с мышинным шорохом осыпалась в углах.

– Совсем прекрасно, – сказал Новиков, – кончились папиросы. Что ж, будем курить махорку.

Он досадливо вытряхнул из портсигара табачную пыль, как-то смешно почесал нос, по-мальчишески улыбнулся – она редко видела его таким, затем полез в планшет, достал остатки старой махорки. И сейчас же, сгоняя с усталого лица эту мальчишески досадливую улыбку, озадаченно хмурясь, вынул три плитки шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин.

– Ну вот, совсем забыл, – пробормотал он. – Для тебя. Алешин передал. Все время помнил – и забыл. Вылетело из

головы. Со всей этой кутерьмой. Прошу прощения.

– Алешин? – полуудивленно спросила она. – Мне? Шоколад?

– Да. Хороший он малый. И, наверно, в тебя влюблен. Это очень похоже, – сказал Новиков спокойно, как умел говорить.

– В меня? – Лена села на нары, откинула волосы и засмеялась серебристым, легким смехом. – Он ведь ребенок, – договорила она – Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи, губную помаду, черт знает что!

Посмотрела на Новикова пристально внимательными глазами, в них теплился смех, потом попросила мягко:

– Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я тысячу раз делала это раненым. А то ты устал, вон руки дрожат. Устал ведь?

Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему; и он особенно близко вдруг увидел ее несмелую, ждущую улыбку.

– Послюни здесь. И все будет готово, – попросила она шепотом.

– Ты сама, – сказал Новиков. – Это у тебя лучше получится.

Он чувствовал: что-то нежное и горькое овеивало его, это ощущение жило, не пропадало у него после того, как она в блиндаже прислонилась лбом к его шее, после того разрыва мины, когда она осторожно села на траву, слабо потирая

грудь, и эта незнакомая горькая нежность необоримо подымалась в нем к ее ласковому смеху, к этой маленькой сигарке, умело свернутой для него, к ее светлым коротким волосам, – они, падая, мешали ей, заслоняли щеку.

Все три года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью, отказывал себе в том, что порой разрешал другим, и не привык и не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. Он видел, как она задумчиво-медлительно узким кончиком языка провела по краю самокрутки и, тут же отстранив от губ, проговорила решительно:

– Нет, ты сам.

И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту, увидел черноту замерших ресниц, спросил неловко:

– Ты что, Лена?

– Свертываю тебе папиросу... Но ты ведь не ранен. Не могу представить, чтобы тебя ранило. – И заговорила быстро, глядя, как он прикуривает, по привычке загородив ладонями огонек зажигалки: – Я замечала: больше убивают и ранят молодых. Почему? Зачем их? Опыта у них, осторожности меньше? А вот ты неосторожен, я замечала... Ты действительно не дорожишь жизнью?

– По-настоящему я не жил, – откровенно сказал Нови-

ков. – Нет, нарочно я под пули не лезу. Просто иначе нельзя. Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошрое можно уложить в одну строчку. В настоящем – одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, поэтому так кажется? – И тотчас поправил себя с прежней и неожиданной для нее откровенностью: – А может быть, и по-другому...

– Почему «другому»?

– В сорок первом году пошел в ополчение. Нас окружили под Смоленском, согнали на шоссе тысяч десять. Были с нами, мальчишками-студентами, и пожилые профессора. Некоторые из них не верили в жестокость, даже в последнюю минуту рассуждали о немецкой культуре, о Бахе, о Гейне... А немцы подтянули танки к шоссе, расставили зенитные пулеметы на обочинах. Аккуратно выстроили нас. И расстреляли, наверно, половину. Остальных – тысяч пять – сбили в колонну, погнали на запад, мимо Смоленска.

– И что?

– В Смоленске я бежал с тремя однокурсниками, перешел фронт. Но всю войну до сих пор помню об этой гуманности.

– Я знаю их, – сказала Лена, ненавидяще сузив глаза. – Я знаю, как и ты! Они влезли в нашу жизнь! Но ты береги себя... Разве нельзя как-нибудь... беречь себя?

– Но я берегу, – проговорил он и улыбнулся. – Я это знаю. За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз ви-

дела, как улыбался он; улыбка эта казалась случайной, беглой, но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на лице Новикова пропадало, оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим; и проглядывал внезапно тот Новиков, который был незнаком ей, которого она не знала и никогда не узнает, – было в этой короткой улыбке то прошлое, довоенное, школьное, неизвестное ей.

Двойной разрыв возле блиндажа тяжело сдвинул, колыхнул нагретый воздух. В углах посыпались комья земли на солому, со звоном упала гильза на столе, дребезжа, скатилась на пол и там погасла, точно придушило огонь. Стало очень темно. Шуршала земля. Было слышно, как за высотой рассыпалась длинная дробь пулемета.

– Это танки, – сказал Новиков и встал.

– Новиков! – замирающим шепотом позвала Лена. – Только не зажигай гильзу, скажи... Я знаю, что ты не любил меня, когда я пришла в батарею. И знаю, что ты думал. Слушай... ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из восьмьдесят пятого. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударила его. И ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи...

Он молчал.

– Ты верил этим слухам? – спросила она не шевелясь.

В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот; часто, с шемящей нежной болью, оглушившей его, сдваивало сердце. Он ощупью при-

близился, наклонился к ней – она лежала, – руки неуверенно нашли ее теплое, гибкое, сразу податливо потянувшееся к нему тело, ее влажные пальцы скользнули по его шее, по погонам, воротнику шинели, дыхание ветерком ожгло щеку Новикова. Она крепко, иступленно обняла его, и по этому дыханию, по ее шепоту он так порывисто нашел нежно-упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.

Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам, и опять вверху простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову.

– Мне надо посты проверить, посмотреть, – тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее груди, руки, не находя от этой полублизости, что сказать ей, договорил с хрипотцой: – Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку... Зажечь лампу?..

– Нет, – ответила она и заплакала. – Не зажигай, не надо. Иди... Я жду...

После плотной темноты землянки было в ходе сообщения почти светло. Зарево высоко и огромно, километра на три в ширину, лохмато подымалось за высотой над городом; и показалось сейчас Новикову, что горели все кварталы его и окраины. Слитные звуки боя гремели оттуда приближеннее, четче – придвинулись с запада к высоте вплотную. Выгибаясь фантастическими рыбами, скользили там, среди огнен-

ного моря, выгнутые хвосты реактивных мин; нагоняющие один другой разрывы все ошутимее, все полнозвучнее, все тяжеловеснее отдавались на высоте.

Новиков долго смотрел туда – на яркое мигание сигнальных ракет над берегом озера, на низкие траектории танковых снарядов на окраине, улавливал скрежет, отдаленное гудение моторов; и то, что испытывал он сейчас в землянке, обнимая горячие, покорные плечи Лены, еще ошутимо, пьяно жило в нем: близость ее тела, влажные пальцы на шее, податливые, отдающиеся губы. И не верил, что только что по мужски впервые целовал женщину там, в землянке, и она целовала его с исступленной решимостью, готовая отдать ему себя.

Он пошел по траншее. Возле огневой позиции вполголо-са окликнул часового. Никто не отозвался. Перешагнул через бруствер, увидел часового – Ремешкова – и весь расчет: сидели на расстеленном между станин брезенте. Разговаривали шепотом, курили. Спал один Горбачев. Лежал на снаряжных ящиках, накрыв голову плащ-палаткой, шумно посапывал, ворочался беспокойно во сне, двигал кирзовыми сапогами. Из голенищ забыто торчали автоматные магазины – видимо, давили ноги.

Завидев Новикова, все разом повернули головы, пристально, выжидающе смотрели на него. Ремешков, до этого говоривший что-то, вытер ладонью рот, сморгнул, крепкие молодые скулы отсвечивали на зареве розовым.

– Почему не спите? – спросил Новиков. – Бой начнется, носом клевать будете?

И сел на бруствер. Порохонько вдавил окурок в землю, мрачно, с перерывами вздохнул. Потом охватил худые свои колени, уперся в них черным небритым подбородком, узкое лицо передернулось вспоминающей усмешкой:

– Эх, товарищ капитан...

– Танки спать не дают, – пробормотал наводчик Степанов. Застенчиво, тихонько он поерзал на станине, короткий, толстоватый в теле, расставив ноги, туго обвитые обмотками. Ответил и кашлянул, потер, потерябил широкое, как блин, лицо свое, как бы очищая его, зачем-то посмотрел на руку. Пальцы дрожали.

– На окраину танки вышли. Лупят по высоте прямой наводкой, – снова произнес он виновато. – Видать, сильно жиманули наших в городе? Драпанули там... Может, наш фланг только и стоит?

– Жиманули? – переспросил Новиков.

– Может, этой ночью и в живых нас не будет, товарищ капитан, – робко проговорил Степанов, опять потирая, теребя круглые мягкие щеки.

– Еще на вашей свадьбе после войны водку будем пить, – сказал убежденно Новиков. – Невеста есть у вас? Ждет, наверно.

Степанов с насилием улыбнулся.

– Да, женат я, товарищ капитан. Как раз после школы вы-

шло.

– Терпежу, значит, ниякого, – ядовито вставил Порохонько, по-прежнему прижимаясь подбородком к коленям. – Будь ты, малец, в моей школе, посоветовал бы я твоей мамке снять с тебя штаники да налагать по вопросительному знаку, щоб знал, яка она, алгебра жизни. С жинкой спать – нехитрое дело. – И с обычной своей независимостью обратился к Новикову: – Правильно чи не правильно, товарищ капитан?

Однако то, что Степанов, парень неповоротливый, добрый, застенчивый, был женат, вызвало в Новикове странное чувство, похожее на удивление и любопытство к нему, – оказывается, этот парень испытал то, что не суждено было испытать самому Новикову.

– Это вы, Степанов, хорошо сделали, – заметил Новиков. – И дети есть?

– Не успели мы, – пробормотал Степанов.

– А это плохо, – сказал Новиков, как будто сам имел семью. – После войны солдата должны ждать дети.

Близкий выстрел выделился из звуков боя, раскатисто ударил по высоте со стороны города. Разрыв вырос шагах в тридцати правее орудия. Опадала земля. Осколки, прерывисто фырча, прошли над огневой, увесисто зашлепали за бруствером. И сейчас же за высотой отчетливо простучал пулемет – пули пронеслись левее орудия.

Все смотрели на город.

– Здоровая жаба плюхнула, всамделе танки прорвались к

окраинам, – произнес Ремешков, покосившись туда, где упали осколки, но голову не пригнул, только слегка подался книзу.

– Товарищ капитан, видели? Где они, фрицы? – встрепенувшись, с хрипотцой заговорил Степанов. – Под нос зашли. Не выдержали там, а мы стоим...

Теперь все вопросительно глядели на Новикова. Солдаты вроде бы ждали от него подтверждения, что немцы действительно прорвались к окраинам города, что на пространстве между окраиной и высотой, по-видимому, уже мало пехоты или вовсе нет ее.

Новиков знал: могло быть то и другое, но, что бы ни говорил он сейчас успокоительное, обнадеживающее, лживо-бодрое, это не рассеяло бы тупой тревоги, и понимал, что успокаивать солдат не имело смысла. И Новиков сказал резко:

– Убедить себя в том, что немцы захватят город и прорвутся в Чехословакию, легче всего. Но если они прорвутся, а мы их пропустим, считайте, Степанов, что война продлится. Хотите этого? Я тоже нет. А мы можем их пропустить, и они уйдут без боя. Спокойно уйдут, подавят восстание словаков, чтобы воевать потом. Вы поняли? На какой черт тогда положили здесь половину батареи? Да и не только мы!.. Что молчите, Степанов?

– Да что вы, товарищ капитан? Да я же просто... – забормotal в замешательстве, все щупая, дергая мясистые щеки.

– Ладно, бывает. Будем считать, что этого разговора не было, – уже дружески сказал Новиков и чуть-чуть улыбнулся. – Ремешков, что вы это тут рассказывали? Не секрет – послушаю, секрет – уйду.

– Тоже чушь плел про якусь старушку, – насмешливо-мрачно проговорил Порохонько и отмахнулся. – Лягалов был, тот рассказывал про мирную жизнь. Як писал. А это так – баланда, рвет с нее... Брешет лучше, чем конь бегаёт!

Ремешков помялся, заморгал белыми ресницами.

– Нет, серьезно, не врал я, честное слово, товарищ капитан, – заговорил он с запинкой, казалось оправдываясь. – Пошла у нас одна старушка в лес за ежевикой. Нет, ты, Порохонько, рукой не махай, это правда, честное слово. Ну вот, пошла... и упала. А у нас много колодцев высохших в лесу, и змей там всяких по-олно. Ну, нашли эту старушку соседние колхозники дней через пять всю в змеях – мертвая...

И Ремешков таинственно, вприщур проследил за полетом реактивных мин среди зарева. Он, похоже было, ждал, что его будут просить рассказывать дальше и подробнее. Но солдаты молчали.

– Змеи? – скрипучим баритоном спросил старшина Горбачев, завозившись под плащ-палаткой: видимо, проснулся только что.

Ремешков взглянул в сторону ящиков, сниженным голосом подтвердил:

– Ну да, гадюки и всякие там...

– Ни одна бы не ушла! – заспанно рокотнул из-под плащ-палатки Горбачев и, сладко зевнув, крикнул.

– Как это так? Кто? – не понял Ремешков.

– Всех бы передушил! – сказал Горбачев, поворачиваясь на ящиках. – Нашел чем пугать.

– Так же змей много. Ну, уж брось ты!

– А-а! Чепуха гороховая! Всех бы передалил! Чего бросать? Ни одной не осталось бы. А ты бы нет?

– О себе не думал, – ответил Ремешков обиженно.

– Это кто ж тебя так учил? В каких школах?

Горбачев не откинул плащ-палатки, не встал – он, крякая сонно, нажимом ног немного стянул сапоги, потом, не дождавшись ответа, затих на боку, задышал спокойно и ровно – так мог спать лишь физически крепкий, здоровый человек.

– Странная история, – сказал Новиков без улыбки; он помнил, как прорывался вместе с Ремешковым к орудиям Овчинникова, и ему не хотелось обижать его. – Очень странная, но довольно интересная. – И, вставая, добавил: – Будет связь – вызвать. Я – ко второму орудию.

Справа ударил танк по высоте.

Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, он мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения. Было ясно: бой в городе, длившийся вторые сутки, достиг того предела, когда достаточно легкого пере-

веса сил немцев – и судьба города будет решена: его сдадут. И этот перевес был у немцев. Это была та прорвавшаяся из Ривн группировка, что после утреннего боя отошла в лес, сохраняя танки, и прекратила атаки перед высотой. Все, что видел Новиков в котловине, когда шли к орудиям Овчинникова, убеждало: немцы разминируют поле, открывая проходы к озеру, к переправе и к высоте. Но медлительность их была загадочна, до конца непонятна ему. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью, через минуту, через час или к утру, и все же не верил, что сдадут этот город, что немцы уйдут через границу в Чехословакию. В этом была большая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат.

Второе орудие стояло на правом краю высоты.

– Стой! Кто топает?

– Капитан Новиков.

Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия; лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил не без удивления:

– Кто это – Алешин? Что за новость? Ты часовой?

– Я, товарищ капитан, – возбужденно ответил Алешин. – Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоятся.

Новиков невольно усмехнулся.

– Сегодня, Витя, сами солдаты решают – спать им или не

спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокойсь. Ясно, Витя? Поставь солдата, не трепи им нервы.

– Слушаюсь, – охотно ответил Алешин, сдвинул козырек со лба, сбросил плащ-палатку, будто жарко было, заговорил с оживлением: – Что они молчат? Надоело ждать! Скорей бы, товарищ капитан!..

Впереди, над пехотными траншеями, встала ракета. Повисла в тихом синем воздухе, потухая, скатилась в минное поле. Новиков и Алешин присели на станины. Но немецкие и наши пулеметы молчали. В розовом сумраке зари Новиков видел, что Алешин смотрит на него прямо, не мигая, увеличенными, возбужденными глазами – резких весенних веснушек не было видно. И пахло от него не шинелью, не табаком, а каким-то приятным запахом: то ли шоколадом, то ли мятными галетами, то ли сладковатым мальчишеским потом. Этот запах был мягок, домашен, тепел, никак не вязался он ни с чем, о чем думал Новиков, идя сюда, и лишь до ясной осязаемости будто приблизил, напомнил Лену, недавнее тепло ее вздрагивающих пальцев.

Алешин произнес с горячей досадой:

– Только ракеты кидают, надоело ждать! Даю слово, начнется бой, еще пять танков на мой счет запишете! Верите?

– Верю, верю...

Смешанное чувство нежности и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности молодости и торопил то, что не осозна-

вал или эгоистично не пытался осознать, но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не смог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной.

– Вот что, Витя, шоколад я твой передал, – сказал Новиков. – Тебе – спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад.

– Да? Мне спасибо? От Лены? – переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко, обрадованно засмеялся. – Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказалась в медсанбат? Молодец!

– Да. Но завтра я все же отправляю ее в медсанбат. Или сегодня ночью. В зависимости от обстановки.

Наступило короткое молчание. Снова взошла ракета над минным полем, источая бледный свет. Медленно угасла. Тень скользнула по щеке, по напряженным губам Алешина.

– Не отправляйте, товарищ капитан! Если легкое ранение, не отправляйте. Она же сама почти врач, в медицинском институте училась, понимает: перевязку там и... все, – захлебываясь, заговорил Алешин и умоляюще подался к Новикову. – Уедет она – и не вернется. В другую часть пошлют, вы же знаете. Простите, товарищ капитан, думаете, я от себя шоколад посылал? Она просто со мной иногда откровенничала, как с другом... или как там? Я за вас посылал. Она мне сказала о вас, что может или возненавидеть, или уйти из батареи. Честное слово! Возненавидеть – это ерунда, конечно.

Это так, со зла, вы тогда с ней не разговаривали.

– Поставь часового и иди в землянку, – с прежней строгостью сказал Новиков, подымаясь, заученным движением поправляя кобуру. – Часовые пусть меняются через два часа.

– Слушаюсь, все ясно, – опадающим голосом ответил Алешин.

И тоже поспешно встал, поправляя пистолет тем же жестом, как делал это Новиков. И Новиков заметил это, как раньше иногда замечал даже свою интонацию команд в голосе Алешина. И внезапно, чувствуя неудобство, подумал, что он, Витя, по-мальчишески влюблен в него, видя в нем, Новикове, то внешнее, бросающееся в глаза, что почему-то всегда притягивает к себе людей и что притягивало прежде Новикова в других. Но ведь все это годами вырабатывалось против его воли, – просто он слишком рано стал командовать людьми, рано носить оружие, в то время как Витя Алешин не знал ничего этого.

«Он подражает мне, как старшему по годам и опыту, видит во мне идеал офицера, – подумал Новиков почти с нежностью. – Но он не знает, что мы с ним едва ли не одногодки. Не знает, что мы иногда думаем об одном и том же, что у меня никакого опыта, кроме военного, что мне тоже хочется жрать шоколад, стоять часовым, откровенно хвастаться подбитыми танками. Но я не могу, не имею права. Наверно, и моя храбрость кажется ему какой-то храбростью высшего порядка. Эх, Витька, Витька, когда-нибудь после вой-

ны, если живы будем, расскажу я тебе все, и ты наверняка удивишься, скажешь: „Не может быть“. А оказывается, может быть. Ты просто остался моложе меня, а я ведь за людей отвечаю».

– Спокойной ночи, Витя, – сказал Новиков и, против обыкновения, сильно пожал руку Алешина. – Впрочем, спокойной ночи не будет. А что будет – посмотрим.

– Черт с ним, товарищ капитан! – ответил Алешин, улыбаясь, и щелкнул пальцами по сдвинутому со лба козырьку. – Оборона хуже всего! Леночке привет!

Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом, при любых обстоятельствах выяснить обстановку. Солдаты по-прежнему не спали. Ни слова ни говоря, лежали на брезенте между станин и слушали приказ. Оранжевые полосы все шире расползались от города, освещали всю высоту, лица, оружие, снарядные ящики. В тылу отдаленно рокотал бой, изредка сотрясая брустверы позиции. Разноцветные сигнальные ракеты, подавая неизвестные знаки, появлялись среди зарева. А перед фронтом батареи, за минным полем, немцы молчали мертво. И казалось, высота тесно сжата – сзади заревом, спереди – выжидательной тишиной. Там были немцы, танки, и кто-то думал, рассчитывал, определял время удара, время, о котором не мог знать Новиков.

– Пойду отдохну, – буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить сжатое напряжение на огневой, и обратился

к Ремешкову: – Изменится что-нибудь – разбудите.

– Слушаюсь, – вскриком ответил Ремешков и сморгнул, привставая. – Да разве тут заснешь?

Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, прислушиваясь к своему дыханию, к крупным сдвоенным ударам сердца, потом позвал негромко:

– Лена, ты спишь?

– Я жду тебя... Иди сюда. Что там, наверху?

Едва слышный мягкий шепот повеял на него из непроницаемой глубины блиндажа, и он шагнул навстречу ему, как в теплый, качающий его ветерок.

– Окружение, да? Только лампу не зажигай...

– Лена, тебе находиться здесь нельзя, – сказал Новиков. – Тебе нужно куда-нибудь в тихое место. Хотя бы в особняк. Около высоты. Я сам тебя отнесу. Остаться здесь нет смысла.

– Ну вот, по голосу чувствую – нахмурился. Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.

– Но мне – наоборот.

– Странно, но я понимаю. Слушай, что ты стоишь? Я ведь знаю, что мы как на вокзальном положении. Ну и что же? Пусть... Сними шинель, ты ведь устал, так будет лучше. Ко-

гда ты ушел, я подумала: вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.

Она тихо засмеялась счастливым, теплым смехом, который так по-новому чувствовал сейчас Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке окружавшей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота. И то, что, дерзкая с ним прежде, она неожиданно сказала о любви к нему и засмеялась ласково, и то, что его самого непреодолимо тянуло к ней и, может быть, давно, – не было той далекой любовью, светившей ему из бездны лет. Запах сыроватых аллей парка культуры, желтый песок под белыми босоножками, мелькание за кустами загорелых ног под ситцевым платищем, велосипед, прислоненный к забору, неожиданная встреча возле будочки с газированной водой, ясно-серые улыбающиеся ему глаза над стаканом пузырящейся шипучки и снег, бесшумно падающий во круг фонарей...

Все оставшееся от того, прежнего, детского, полузабытого, было в кармане его гимнастерки – четыре письма, фотокарточки не было. И, снимая шинель, он на минуту приостановил движение руки, услышав хруст писем в кармане. Он почувствовал, что предает, разрушает то прежнее, детское, это настоящее было важнее, сильнее, нужнее ему, дороже и взрослее – он испытал это впервые.

– Никогда я... такого не чувствовал, как к тебе, – сказал

он глухо и сел на нары, где лежала она, тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках. – Ты веришь?.. Никогда!..

Он обнял ее. Она не поднялась, снизу руками обвила его шею, притянула к себе, и с замирающим стуком сердца он ощутил под гимнастеркой округлость ее груди, гибкий шепот дыханием коснулся его подбородка, тонкие пальцы иступленно ласкали его волосы на затылке, родственно, преданно гладили его шею, скользили по плечам...

– Ты не жалея меня, не жалея. Делай со мной что хочешь. Разве ты не понимаешь, что завтра меня не будет с тобой!..

– Теперь ты можешь отправить меня в госпиталь... Что бы ни было – ты мой!..

Она лежала вся теплая, расслабленная, утомленно обнимая его, целовала легкими прикосновениями. Тихий, обволакивающий шепот будто черными шерстинками стоял перед глазами Новикова, был бесплотен, тающ, беззвучен; и в том, как она прижималась к нему, пальцами проводила по лбу, по волосам его, была сейчас усталая нежность, готовность на все, что могло еще случиться с ними. Но после того, что впервые почувствовал он, – это короткое, казалось, неповторимое бредовое счастье обладания женщиной, он не хотел верить в ее слова о госпитале и не верил в то, что завтра или сегодня ночью Лены не будет с ним. Была ошеломляющая его, непонятная, страшная ненужность в ее ранении,

в их запоздалом сближении, в этой кажущейся случайности их близости.

В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее шепот и молчал, – он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой жизненной несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро:

– Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу. Только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена. И все будут относиться к тебе как к моей жене. Не говори больше о госпитале.

– Жена... – повторила Лена медленно. – Как это ты хорошо сказал: жена... – Помолчала и договорила со злой горечью: – Но здесь не может быть ни жены, ни мужа.

– Я не хочу ждать. Я с трудом находил людей, которые уезжали из батареи. Даже своих офицеров. Из тех, кто шел из Сталинграда, ни одного не осталось.

Лена не ответила, уткнувшись лицом ему в подмышку, нагревая дыханием, вдыхая запах его здорового, молодого тела; так пахло от него тогда, в блиндаже – терпкий знакомый запах пороха, он был еще весь пропитан им после утреннего боя. Долго лежала не шевелясь, и он понимал по ее молчанию, что она не хотела, не могла сказать ему то, что он бы отверг, не признал, не принял. Тогда он сказал отрывистым,

неузнаваемым ею голосом:

– Ты молчишь, Ленка? А мне все ясно.

– Все может измениться, пойми меня! – ответила она серьезно и страстно. – Все... Слишком хорошо с тобой и беспокойно. Ты послушай меня, я, наверное, чепуху говорю. Но бывает так: когда очень хорошо – начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?

Он не выдержал, обнял ее.

– Ты действительно чепуху говоришь, Ленка, – сказал Новиков спокойно. – Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен.

Она осторожно гладила его шею, его грудь.

– Обними меня крепче. Очень крепко, – неожиданно попросила она шепотом. – Чтоб больно было...

Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий крик возле орудия, топот бегущих ног в траншее заставили Новикова вскочить, в темноте одеться с привычной поспешностью. Затягивая на шинели ремень, ощутимый знакомой тяжестью пистолета, услышал он, как после беглых разрывов на высоте заструилась по стенам земля, застучала по плечам дробным, усиливающимся ливнем.

Сдавленный голос – не то Ремешкова, не то Степанова – толкнулся в дверь блиндажа:

– Товарищ капитан!.. Немцы!

И, услышав это «немцы», он, как бы мгновенно охлажден-

ный, понял все.

Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал:

– Ну вот, началось! Пошел!..

И вышел из блиндажа, застегивая шинель.

Побледневшее к утру зарево, холодно тлеющий над туманными изгибами Карпат лиловый восток, пронизывающая ранняя свежесть земли, влажные от росы погоны и желтое, круглое, заспанное лицо Степанова, месяц, прозрачной льдинкой тающий среди позеленевшего неба, – ничто детально и точно не было сразу намечено и выделено сознанием Новикова. Все это даже не могло интересовать его, выделиться, остановить внимание, кроме одного, что в ту минуту реально увидел он.

Вся мрачно теневая, темная еще, покрытая остатком ночи опушка соснового леса, куда днем отошли немцы, как бы раздвигалась, оскаливаясь огнем, – черные тела танков, тяжело переваливаясь через лесной кювет, уверенно расползались в две стороны: в направлении свинцово поблескивающего озера, мимо бывших позиций Овчинникова, и через минное поле – в направлении высоты, где стояли орудия Новикова. Все, что мог увидеть в первое мгновение он, удивило его не тем, что запоздало началась атака, а тем, что незнакомое и новое что-то было в атаке немцев, в продвижении их.

Ночь, еще непрочно тронутая зарей, заливала темнотой низину, услужливо скрывала начавшееся движение танков к высоте. Только по чугунному гулу, по длинно вырывавшимся искрам из выхлопных труб, по красным оскалам огня, по железному скрежету будто гигантски сжатой, а теперь разворачиваемой, упруго шевелящейся, дрожащей от напряжения стальной пружины Новиков точно и безошибочно определил это новое направление на высоту.

Пышно и ярко встала над разными концами леса россыпь двух сигнальных ракет. Как отсвет их, ответно взмыли две высокие ракеты на окраине горящего города, в том месте, откуда ночью с тыла высоты стреляли по орудиям прорвавшимся из Касно танки, и Новиков, заметив эти сигналы, понял их: «Мы идем на прорыв, соединимся в городе».

Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, словно жадно, хищно пожирая их, уже вползали в район минного поля перед высотой, – тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины.

– Что стоите, Степанов? К орудию! Бегом! – скомандовал Новиков, вдруг увидев, как нервно мял, тискал свои мясистые щеки Степанов.

Стоял он рядом в ходе сообщения, грузно приседая, оглядываясь на кипящую разрывами высоту, крупные губы прыгали, растягивались, он медлил с желанием выдать из себя что-то; слов Новиков не разобрал.

– Бегом!

«Что это с ним? Спокойный ведь был парень! Нервы сдали, что ли?» – подумал Новиков досадливо и удивленно, видя, как побежал к орудию толстоватый в поясице Степанов, как при разрывах нырлял он большой головой, так что уши врезались в воротник шинели.

Новиков два раза пригнулся, когда бежал следом за Степановым к орудию. Осколки рваными даже на слух краями резали воздух над бруствером, звенели тонко и нежно. И этот противоестественно ласкающий звук смерти по-новому, до отвращения ощущал Новиков.

На огневой позиции, неистово торопясь возле орудия, солдаты с помятыми, серо-землистыми от бессонницы лицами суетливо подправляли брусья под сошники. Порохонько сидел на земле без шинели, сильно и жестко обрубал топором края канавки в конце станин; нетерпеливо перекашивая злые губы, кричал что-то Ремешкову, вталкивающему брус под сошники. У мигом повернувшего лицо Порохонько острые глаза налиты жгучей радостью мстительного облегчения. Взгляд его коротко скользнул навстречу Новикову – будто он, Порохонько, ждал своего часа и дождался. Сразу стало горячо Новикову от этого взгляда. И, рывком сбрасывая, кинув на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул:

– По места-ам! Заряжа-ай!

Заметил у бросившегося к казеннику Ремешкова следы снарядной смазки на небритых скулах, на подбородке, а в по-

луоткрытых губах выражение слепой торопливости. Скользящий снаряд колыхнулся в руках его, сочно вщелкнулся в казенник, мгновенно закрытый затвором. И снова волчком метнулся Ремешков к раскрытому ящику, выхватил оттуда, родственно прижал к животу снаряд, переступая крепкими ногами, вроде земля жгла его.

«С этим парнем кончено, – удовлетворенно мелькнуло у Новикова. – Кажется, солдат родился». И не осудил себя за ту жестокость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову.

– Вы к панораме или я? Вы или я, товарищ капитан? Может, Порохонько?.. Товарищ капитан!.. – не говорил, а просяще выкрикивал Степанов, крадучись, боком пятясь к панораме.

Досиня бледный, весь огрузший, потеряв прежнюю деловитость в движениях, был он, похоже, смят чем-то, подавлен, разбит. Неприятно отталкивали Новикова его опустошенно-светлые дергающиеся глаза – в них исчезло внимание, появилась бессмысленная рыскающая быстрота. И Новиков понял. Это была подавленность страхом, рожденная после нестерпимого ожидания ночью тем чувством самосохранения, что, как болезнь, возникло у некоторых солдат в конце войны.

– Вы что раскисли? – Новиков взял за плечо Степанова, повернул к себе. – Возьмите себя в руки! Выбросьте блажь из головы! Забьете чушь в голову – убьет первым же снарядом! К панораме!

И уже с непрекословной силой подтолкнул наводчика к щиту орудия.

Степанов присел к панораме, потянулся судорожно-спешно к маховикам механизмов, а они, чудилось, ускользали из рук его. Схватил их, широкая ссутуленная спина напряжилась, по этой спине чувствовал Новиков дрожащее в Степанове напряжение, неточно рыскающие сдвиги прицела.

– Мне бы к прицелу, товарищ капитан! Разрешите? – выплыл из-за спины голос Порохонько и исчез, стертый, раздробленный вздыбившими высоту позади орудия танковыми разрывами.

Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту, левый край ее продвигался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова – в направлении котловины, через которую ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными и где встретил немцев. Орудия Овчинникова не задерживали теперь танки на нейтральной полосе. Центр дуги, приближаясь, вытягивался к высоте, а правый край дуги пересекал прямую линию шоссе, – было видно, как танки угрюмо-черными тенями переползали через нее, двигались фланговым обходом на город.

Перемигиваясь, вспыхивали и затухали ракеты на разных концах дуги.

Низина наливалась катящимся гулом, но мутно различные квадраты танков еще не вели массиванный огонь, –

стреляли по флангам, как бы еще выжидательно нащупывая цели. И это тоже казалось необычным Новикову.

– К телефону Алешина! Быстро! – приказал он телефонисту и спрыгнул в ровик, – белое лицо связиста засновало у аппарата.

«Если бы были орудия Овчинникова, если бы... – подумал Новиков, в эту минуту ничего не прощая Овчинникову. – Там, у озера, свободный, не прикрытый ничем проход...»

– Алешин, ты? – Он стиснул трубку. – Алешин...

Ответа не расслышал – тотчас ворвался в ровик гром артиллерийской стрельбы: выстрелы – разрывы, разрывы – выстрелы. На миг поднял голову: справа от высоты взлетало и падало рваное зарево. С неуловимой частотой сплетались там багровые выплески, – открыли огонь по танкам соседние батареи. Рядом бегло гремели врытые в землю тяжелые самоходки. У Новикова не было связи с соседями, он не знал об их потерях в утреннем бою, и внезапная радость оттого, что соседние орудия жили, зажглась в нем пьянящим азартом. Он улыбнулся жаркой улыбкой, испугавшей и удивившей связиста, крикнул в трубку, прикрывая ее ладонью:

– Видишь, Алешин, справа огонь? Соседи живут! По правым танкам не стреляй! Огонь по левым! Не подпускай к озеру! Снаряды не жалея! Все!

И, бросив трубку, повернулся к орудиям, высоким, звонким голосом подал команду:

– Внимание!.. Наводить по левым танкам... по головному!

Ракеты уже не сигналили больше, танки подтянулись из леса, атака началась одновременно на всем протяжении вытянутой дуги. Новиков видел это без бинокля.

Левая оконечность дуги резко закруглилась – три крайних танка, набирая скорость, с вибрирующим воем моторов вырвались вперед, тяжело катились по возвышенности, где низкими буграми лиловели бывшие позиции Овчинникова. Передний танк взрыл широкими гусеницами бруствер, смело вполз на огневую, железно взревев мотором, развернулся там, давя остатки орудия, и, когда кроваво мелькнул его бок, тронутый зарей, Новиков успел выкрикнуть первую команду:

– По левому... огонь!

Но как только, взорвав воздух на высоте, ударило орудие и вслед, почти слитно, ударило орудие Алешина, что-то высокое и огненное взвилось перед глазами Новикова, земля упала под ногами, острой болью кольнуло в ушах. Его смяло, притиснуло в окопе, душным ветром сорвало фуражку, бросило волосы на глаза. Не подымая фуражки (едва заметил: как будто изящными руками потянулся к ней на дне окопа связист с мертвенно-стылым лицом), Новиков тряхнул как-то сразу заболевшей головой, встал. Дымились воронки на бруствере, тягуче звенело в ушах. Частые рывки огня скачущие сверкали в глаза Новикову над приближающейся танковой дугой, – непрерывно били танки.

А высота уже перестала быть возвышенностью. Дым,

вставший над ней, казалось, сровнял ее. Смутные очертания орудия проступали и тотчас тонули во мгле. И не увидел Новиков ни фигур снующих там солдат, ни Степанова возле щита – ничего не было, кроме этой клубами валящей темноты, пронизанной трассами танковых снарядом.

– Степанов! – позвал Новиков так нетерпеливо и громко, что болью отдалось в висках, но ответа не было.

Когда подбежал он к орудию, то увидел расширенные, мутные глаза Ремешкова, упорно ползущего к орудию между станинами со снарядом, одной рукой прижатым к груди. Он задыхался от гари, указывал взглядом на Степанова, стоящего на коленях перед щитом, а его тормошил, дергал за хлястик, кричал что-то весь закопченный дымом Порохонько.

– Что? Почему прекратили огонь? – крикнул Новиков. – Степанов!..

Но никто не ответил. Он наклонился, и кинулось в глаза: Степанов стоял на коленях, ткнувшись лбом в щит орудия, съезженным плечом упираясь в казенник. Пилотка держалась на его большой голове, прижатая ко лбу щитом, складка шеи с еще не исчезнувшим загаром, как у живого, лежала на воротнике, но то липкое, густое на вид, что выползло из-под разорванной пилотки, объяснило Новикову это странное несоответствие позы с тем, что произошло. Воронки зияли слева и чуть позади Степанова – следы снарядов на бруствере, убивших его.

– Отнесите в нишу, похороним потом, – сказал Новиков,

почти не слыша своего голоса, и, задохнувшись, вспомнил, что как-то не так говорил он со Степановым в последние его часы. Но не было времени, душевных сил возобновить в памяти, где был прав и виноват он. Новиков чувствовал темное кружение в голове, позывало на тошноту, – видимо, контузило его в ровике.

– Отнесите в нишу, похороним потом, – повторил Новиков глухо и сейчас же поднял голос до командных, отрезвляющих нот: – По места-ам!..

И тут же исчезло, ушло из сознания все, что было несколько секунд назад. Веря в свою прежнюю счастливую звезду, он стал на колени к прицелу, припал к резиновой наглазнице панорамы – резина хранила еще живую теплоту и скользкость пота Степанова.

Он увидел в панораме уже как бы разжатую и разбившуюся на две части дугу атаки: тяжелые танки, с ходу ведя огонь, сползались от центра к левому и правому краям поля, скапливались черными косяками. Три первых танка миновали позицию Овчинникова, неуклюже и круто ныряя, скатывались в котловину.

– А-а, – только и произнес Новиков, машинально тиснув ладонью ручной спуск. Его была внутренняя дрожь нетерпения, азарта и злобы, и то, что делали его руки, глаза, будто отделилось от сознания, а оно говорило ему: «Не торопись, не торопись, ты никогда не торопился!» И все будто исчезло: на перекрестие прицела в упор надвинулся широкий, поды-

мающийся из котловины покатым лобом танка, качнулся, дрогнул его длинный ствол, слепя, заслонил огнем прицел и выпал из перекрестия – с громом рвануло землю слева от Новикова. И в то же мгновение, чувствуя солоноватый привкус крови на закушенной губе, Новиков поймал его опять, выстрелил и уже не смотрел, куда впицась трасса. Лишь синяя точка спичкой чиркнула там по широкой груди танка.

– Товарищ капитан! Быстрее! Быстрее!.. «Мессера» идут! Товарищ капитан, миленький!.. Быстрее!..

«Чей это голос, Ремешкова? Зачем он кричит? Не кричать, спокойно, Ремешков! Ни одного звука. Я не тороплюсь потому, что так надо, так вернее...»

Сколько он сделал выстрелов? Шесть? Десять? Двадцать? Нет, только девять... Но дуга все распрямлялась – где следы выстрелов? Танки идут... Снова крик разбух за спиной его, накаленный опасностью, а может быть, бешеной радостью, животный крик, он никогда не слышал этот неестественный голос Ремешкова:

– Тринадцать штук горят! Горят! Нет, четырнадцать! Алешин три смазал! Мы – шесть!.. – И крик этот точно скосило: – Пикируют! Сюда!.. Вот они! Товарищ капитан!..

Тонкий, режущий свист возник в небе; в грохоте, в треске разрывов он стал увеличиваться, расти над самой головой – наклонно к земле скользили в дыму узкие, как бритвенные лезвия, вытянутые тела «мессершмиттов». Они пикировали прямо на высоту, выбрасывая колючее пламя пулеметных

очередей. Взрывы бомб ударили в землю, вскинулось косматое и высокое там, где были пехотные траншеи, толчки передались к высоте, сдвинули орудие. С пронзительным звуком истребители вынырнули из дыма, выходя из пике, стремительным полукругом взмыли ввысь, серебристо засверкав в утреннем небе, и оттуда косо понеслись, стали падать на высоту, вытянув черные жала пулеметов. Отчетливо и низко мелькнули кресты на узких плоскостях, прямо в глаза забились пулеметные вспышки. По лицу Новикова пронесся металлический ветер, фонтанчики очередей зацокали по брустверам, зазвенела пробитая пустая гильза. Знойным ветром толкнуло в спину, в затылок – разрывы бомб встали вокруг орудия. Новиков, ощутив эти жаркие удары волн в спину, но почувствовал большой опасности, не лег, лишь инстинктивно прикрыл рукой головку панорамы; как во сне, просочился захлебывающийся голос Ремешкова:

– Товарищ капитан, ложитесь... ложитесь, разве не видите? Осатанели они! По головам ходят!.. Убьют вас... Пропадем без вас, товарищ капитан...

Но слова эти не задели Новикова, прошли стороной, как дуновение ветра, как неточные удары бомбовой волны. Он верил в прочность земли и не верил в прямое попадание. Выжидая, смотрел, как осиные тела истребителей падали в дыму над высотой на орудия.

А непрерывный писк, едва пробившийся сквозь окруживший огневую грохот, назойливо, требовательно звучал за

спиной. Кажется, зуммерил телефон.

– Аппарат! – крикнул Новиков, ничего не видя в дыму, и сейчас же к нему пробился прыгающий от волнения голос связиста:

– Товарищ капитан! Алешин у телефона! Докладывает! Справа танки через минное поле прошли!

– Где прошли? Где?

Новиков, опираясь на казенник, привстал над щитом и тогда увидел справа и впереди перед высотой, там, где было боевое охранение пехоты, немецкие танки. Несколько человек, отстреливаясь из автоматов, зигзагами бежали оттуда по полю к высоте перед ползущими танками, падали, вскакивали, тонули в полосах мглы.

В ту же секунду понял Новиков, что боевое охранение смято.

– Связист! Ясно видит Алешин эти танки? Ясно видит? Передайте мой приказ Алешину!.. – скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клекот пулеметов. – Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда! Туда! Сначала несколько фугасных!

И, скомандовав, с ощущением нависшей беды посмотрел перед высотой, где разбросанно бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок, земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повер-

пули, бросились назад, к траншеям боевого охранения.

– Товарищ капитан! Да что вы? Ложитесь! – снова возникли за спиной умоляющие вскрики Ремешкова. – Пикируют!

Новикова резко дернули за рукав гимнастерки. Ремешков, весь засыпанный землей, не в силах передохнуть, сидел рядом, вскинув серое лицо, в застывших от надвигающейся опасности глазах светилась, вспыхивала зеркальная точка. А эта точка падала с неба. Металлический рев оглушил Новикова, пули звеняще прошли по огневой, запылили, зыбко задвигались брустверы. Низкая тень пронеслась над ними – и хвост истребителя стал взмывать над высотой, врезаясь в небо.

– Не ранило, товарищ капитан? Не ранило? – говорил лихорадочно и сипло Ремешков, размазывая пот по лицу. – Что же вы так? Что же вы так?.. Товарищ капитан!..

Будто не слыша его, Новиков стоял у щита, отчетливо видел, как впереди мимо занявшихся дымом машин медленно вползали в котловину танки, – вытекали они к берегу озера. Самолеты прикрывали продвижение танков. Странно, напряженно дрожали брови Новикова. И Ремешков, который не видел эти танки, не мог знать, что чувствовал Новиков, придвинулся ближе к нему, поднял молодое обескровленное лицо, спросил:

– Худо вам, товарищ капитан? Ранило, а?

– К орудию! – сквозь зубы подал команду Новиков. – Заряжай, Ремешков! Где Порохонько? Заряжай! – И, садясь к

прицелу, обернулся: – Порохонько, жив?

Порохонько лежал на спине среди станин, со злым любопытством следил за разворотом истребителей, крепкими зубами покусывая соломину, смеялся беззвучно, захлебываясь этим жутким, душащим его смехом.

– Огонь! – скомандовал Новиков.

Сгущенный дым, закрывая все, как и вчера утром, кипел над полем перед высотой. И теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера.

Пронзительный свист истребителей носился над высотой, пулеметы пороли воздух, но все это как будто уже не существовало для Новикова. Нажимая спуск, он чувствовал: горло жгло сухой краской орудия, он заметил – раскаленный ствол покрылся искристой синевой. Но ни о чем не думал, кроме того, что, обходя высоту, шли танки, пытаясь прорваться в город, ни одна мысль не была логичной, кроме одной: они прорывались к озеру.

– Уходят! – чей-то крик за спиной, и он смутно ощутил: случилось что-то в воздухе.

Сверкающий на солнце клубок вьющихся в выси самолетов проносился над высотой. Трассы перекрестились от самолета к самолету, наискось – к земле и в высь утреннего неба, клубок мчался на запад все ниже и ниже. И тогда по этому сверканию, по извилистому ручью дыма, вытекавшие

го из тонкого тела «мессера», стремительно ухотившего от другого истребителя, догадался Новиков, что там воздушный бой, как всегда непонятный с земли.

– Заряжай!

И он опять нащупывал прицелом шевелящуюся массу танков на краю котловины, выстрелил два раза подряд, обессиленно и машинально вытер разъедающий пот с глаз, и в эту минуту снова гул моторов повис над землей, давя на голову, раздражающе заполнил уши. Но этот новый гул был другой, бомбардировочный, тяжелый, ровно и туго катящийся по небу. И прежде чем Новиков, готовый выругаться, увидел самолеты, крик Ремешкова захлестнул все:

– ИЛы! Товарищ капитан! Наши штурмовички! Раз, два... Гляньте-ка! Вон выровнялись! Миленькие!

Ремешков, насквозь промокший от пота, стоял между станинами среди куч пустых гильз, забыто прижимая к груди снаряд, смеялся радостным, всхлипывающим смехом, задрал голову, пот тек по крепкой шее его. Порохонько, без пилотки, со спутанными волосами, глядел в небо, прищурясь, шарил рукой по земле, ища соломинку, что ли; запекшийся от гари рот усмехался ядовито и недоверчиво.

Большая партия ИЛов низко шла над Карпатами, на запад, заслоняя солнце, выстраиваясь в боевой порядок.

И слева над пехотными траншеями, предупреждающе сигналив, выгнулись в сторону немцев красные ракеты. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг. Сразу бой, каза-

лось, стих, замер на земле.

«Это передышка, вот она, передышка! Может быть, больше ее не будет! – подумал Новиков, видя, как первый штурмовик клюнул в воздухе, стал пикировать над немецкими танками. – Лена в десяти шагах отсюда, Лена... Я успею снести ее в тихое место, в особняк. Что она там, ждет меня? Я не имею права забывать о ней... Нет, я не забывал о ней...»

– Оставайтесь за меня, – хрипло крикнул он Порохонько. – Я сейчас вернусь.

Он шел к блиндажу по осколкам, шагал, пошатываясь, как в знойном тумане. Он совсем не замечал, что прежней огневой позиции, хода сообщения, ровиков почти не существовало, – все было изрыто танковыми снарядами, зияло частыми оспинами воронок, глубоко взрыхленной, вывернутой землей, брустверы наполовину стесаны, точно огромные лопаты, железные метлы прошлись по ним.

Он распахнул дверь в блиндаж и вошел.

Он вошел разгоряченный, весь черный, потный, остановился на пороге в раскрытых дверях, не мог ничего сказать, – удушье сжимало его горло.

Лена сидела на нарах одетая, даже ремень с маленькой кобурой узко стягивал ее в поясе, свежеперебинтованная нога свешивалась с нар, будто она готовилась встать, смотрела на эту ногу, наклонив голову. Светлые волосы заслоняли щеку.

– Лена... Я пришел за тобой, – глухо и хрипло выговорил он и шагнул к ней. – Лена, тебе пора...

Не вздрогнула она, ничего не спросила, она подняла, задержала взгляд на его лице, долго снизу вверх разглядывала, улыбаясь, лаская теплой глубиной глаз, потянулась, нежно и осторожно поцеловала его в шершавые, горькие от пороха губы, сказала шепотом:

– Вот и все. Теперь я в госпиталь, в медсанбат – куда лучше и быстрее. Подожди. Ты потный весь. Жарко было?

Достала из санитарной сумки кусочек ваты и, как делала это раненым, промокнула ему лоб, подбородок, шею, чуть касаясь, вытерла то место выше правой брови, где вчера легонько царапнула пуля. А он стоял возле, чувствуя эти легкие, родственные прикосновения, ее близость, ничего не мог ответить: боялся – слова останутся, застрянут в горле. И знал: голос его был сдавлен, хрипл, неузнаваемо чужой от команд, и было странно, чудовищно странно для самого себя – он не смог бы объяснить этим голосом все, что испытывал к ней.

В особняке Новиков нашел ездового и немедленно верхом послал его найти медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груди смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты.

Они оба молчали; сюда доносились нарастающие звуки бомбежки, накаленные очереди пулеметов за высотой; штурмовики, боком выворачивая на солнце плоскости, повторно заходя на круг, поочередно снижались над парком, наполняя его, сотрясая гулом усыпанные листьями аллеи.

Новиков задумчиво смотрел на высоту, на видимые сквозь прозрачные липы недалекие орудия: там оставались солдаты, мимо них он только что пронес на руках Лену, и она покорно обнимала его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно-понимающие взгляды, когда сказал Ремешков: «Выздоровливайте, сестренка, мы вас очень уважали», – и когда Порохонько добавил: «Живы будем – побачимось». Никто не имел права осудить его и Лену, и никто не осуждал их, узнав теперь все. И это была доброта, та доброта, которую он часто скрывал в себе к Ремешкову, к Порохонько, к людям, которых он любил. Он часто не признавал ничего нарочито ласкового, – был слишком молод и слишком много видел недоброго на войне, человеческих страданий, отпущенных судьбой его поколению. Он никогда не задумывал-

ся, любили ли его солдаты и за что. И порой был недобр к ним и недобр к себе: все, что могло быть прекрасным в мирной человеческой жизни – чистая доброта, любовь, солнце, – он оставлял на после войны, на будущее, которое должно было быть – и то, что сейчас он не в силах был найти другого выхода, то есть не отправить Лену в медсанбат, не потерять ее, как будто случайно найденную, казалось ему жестокостью, которой не было оправдания. Он знал, что у нее не тяжелое ранение, но понимал также, что нельзя было задерживать Лену даже на несколько часов возле орудий, – неизвестно было, чем кончится этот бой.

– Я найду тебя, – твердо сказал Новиков, веря в то, что он говорит. – Я найду тебя во что бы то ни было, чего бы это ни стоило. В госпитале, в тылу, но я тебя найду. Ты веришь? Ты должна верить, что мы прощаемся с тобой на время.

– Нет, – сказала Лена и улыбнулась грустно, потянувшись к нему, волосами скользнула по щеке. – Нет, ты меня не найдешь, Дима.

– Я найду тебя... И я люблю тебя. Я поздно это понял...

Она с осторожностью пальцами погладила его брови, его лоб, будто запоминая, и, вдруг клоня лицо, нахмурилась, уголки губ, брови, нежный овал подбородка мелко задрожали, тонко дрогнули ноздри. Но тут же, сдерживая рыдания, сотрясавшие ее плечи, сказала тихо:

– У тебя еще много будет женщин...

– Но ты уже есть! Какие женщины, когда есть ты? – за-

говорил он, сильно обнимая ее, прощально и горько целуя ее слабо отвечающий рот. – Мне пора. Ты слышишь? – И легонько потряс ее за плечи. – Прощай! Мне пора. Ты слышишь? Я тебя найду... Я тебя найду...

Новиков встал. Она смотрела на него как бы сквозными невидящими глазами, безмолвно кусая губы. И он не мог уйти сразу. Ее шея, окаймленная воротом гимнастерки, волосы, погоны на узких плечах, край щеки – все было беспокойно-розовым в свете сочившейся в парк зари. И все, что было рядом и позади ее беспомощно сжатой фигуры, стыло в полном и тревожном наливе зябкого утра осени. И показалось на миг, точно на этом кусочке земли не было войны, а была просто осень и розовый холодный воздух без выстрелов, без гудения танков за высотой.

В мокрых коридорах аллей столетних лип уже лежали красные полосы, отсвечивали влажные кучи листьев, золотом горели уцелевшие стекла в особняке, а перед террасой, над безмятежной утренней гладью бассейна поднимался зыбкий пар. Здесь были покой, осенняя сырость, запах обмытых росой листьев, холодная и чистая крепость зари, – все говорило о мире вечном, естественном.

– Лена, я пойду, Лена, я пойду, – глухо повторял Новиков, уже зная, что он сейчас уйдет, но не веря, что она останется здесь одна, в этом страшно отделившемся от него мире.

– Сейчас, – окрепшим голосом проговорила Лена. – Вот сейчас. У тебя рукав порванный... Сейчас... Что это, оскол-

ком, пульей? Не видел? Дай я зашью. Сними... Это одна минута. Я быстро... – И, вздрогнув, испуганно расширила глаза, посмотрела на высоту. – Это за тобой. За тобой... Я зашью, Дима, а ездовой тебе передаст. Я зашью... Дима. Я зашью...

Человек бежал по высоте от орудий и, размахивая над головой руками, кричал что-то, звал оттуда. Частые разрывы, поднявшиеся по всей высоте, задавили его крик; дым оползал по скату, застилая орудия.

– Это за мной!

Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом под руки себе. Ясно одно помнил, что не в силах был сказать ничего, еще раз прощально поцеловать ее – этого невозможно было сейчас сделать.

Он несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся, побежал по аллее, по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле – и не мог.

Тот человек, кричавший Новикову от орудий, был младший лейтенант Алешин. Когда Новиков, задыхаясь, вбежал по скату, он вроде бы не узнал его. Весь потный, с мелово-прозрачным лицом, на котором нестерпимой синью светились глаза, в грязной и прожженной на полах шинели, он, рванувшись навстречу, закричал надорванным тенором:

– Прицел разбило! Товарищ капитан! У меня! Двоих ранило! Танки опять на мины нарвались... Вправо обходят! Бронетранспортеры подошли! Как без прицела? Товарищ

капитан!.. Как назло, разбило... Ну что делать?.. Бросился за прицелами Овчинникова, а их раскокошило!

И, перекосив по-мальчишески лицо, скрипнув зубами, едва не зарыдал от бессилия; и, резко мазнув рукавом шинели по глазам, стоял, покачиваясь на тонких ногах, обтянутых хромовыми сапожками.

– Через ствол, Витя! Наводи через ствол! Без прицела! К орудию! Ну, Витенька, давай! – крикнул Новиков и подтолкнул Алешина в плечо. – Давай, Витя, милый!..

Автоматные очереди хлестали по высоте, сплетаясь в сеть.

Он прыжком перескочил через бруствер, за ним в дыму мелькнула перед глазами прочно стоящая на коленях между станин длинная фигура Порохонько со снарядами в руках, мелькнул страшный оскал зубов Ремешкова, лежащего на бруствере за ручным пулеметом. Стреляя, он крутил головой, тряслась спина, колыхалась пилотка, сползшая на шею, и не то плакал он в голос от злобы, не то смеялся:

– Не-ет!.. Не-ет!..

Все горело там, перед высотой, и густо чадило сплошной мутью, располованной трассами снарядов. Впереди несколько тяжелых танков сгрудились на краю котловины; застигнутые бомбежкой, – видимо, уже подожженные, – они столкнулись вслепую, сцепившись гусеницами, и так пылали. Дуга распалась, ее не было, были смерчи пожаров, скопища мазутного дыма, только справа несколько танков шли толчками, обтекая высоту; слева же в котловину скаты-

вались тупорылые пятнистые бронетранспортеры, фигурки немцев в рост бежали к кустам, не останавливаясь, не падая, расплескивая струи автоматных очередей. Нет, они хотели жить, эти немцы, что сидели и стреляли в бронетранспортерах и танках, и те, что бежали по полю, хотели убить тех, кто сдерживал их, хотели любой ценой прорваться в город, перешагнуть, миновать невозможное, что не должно было случиться, и Новиков почему-то подумал, что это невозможное было он, Новиков, и его люди на высоте.

– Не-ет! Не-ет! Не-ет!

...По звукам танковой и автоматной стрельбы за высотой, по беглым, учащенным ударам орудий на высоте, по кустам разрывов, вырвавшихся вокруг позиций Новикова, по наискось в небе летящим пулям Лена точно ощутила, что бой не только не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, когда есть одна прочность земли.

«Дима, Дима, Дима... Что он там? Что с ним? Его не убьют... таких нельзя убивать... его не убьют. Я знаю. Он умеет стрелять, как не умеют другие... Что же это там? Опять?»

Иголка прыгала в ее пальцах, она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно пристально смотрела туда, на высоту, жадно искала орудие, тонувшее во мгле, в фонтанах земли:

что-то белое то появлялось, то пропадало там. Или это только казалось ей?

«Это он, он возле орудия. Он... Я вижу его... Скорей, скорей, пусть скорей конец боя... Только скорее конец боя. Это же должно кончиться... Должно кончиться... Скорее, скорее!»

Черное, огромное и тяжелое с треском, с хрустом обрушилось из мутного неба на высоту, перевернутым конусом взлетело оранжево-слепящее. Высота будто расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, кипя клубами, сдвигаясь, стекал по скатам, опал быстро, разнесенный утренним ветром, и, дрожа от мгновенного озноба, стиснувшего горло, неясно увидела она что-то белое, ничком лежащее на бруствере.

«Что это? Что это?» – удивленно задержалось в сознании Лены. В ту минуту она еще не могла определить все, почувствовать, она не только не могла осознать, что это мог быть он ранен или убит, а, наоборот, подумала, что это был не он.

Возникли какие-то новые звуки, скрипящие, воюющие, нарастая, распространились слева, со стороны города, над вершинами лип, оглушая ревом, сверкнули раскаленные хвосты, широкими молниями ударили, впились в высоту, закрутились раскаленные змейки на всем протяжении ее, и опять дым загородил небо и то белое на бруствере.

«Что это? Наши? „Катюши“? Зачем они стреляют? Они думают, что он погиб. Он не мог погибнуть. Что они делают?»

Стреляют по нему! Сюда не прошли танки. Он жив! Он жив! А как же я? Одна? Нет, он не погиб... А как же я?»

Дым снова разодрало ветром, что-то белое по-прежнему ничком неподвижно лежало на бруствере. И тогда, переводя взгляд на гимнастерку, пусто лежавшую у ее ног, разглаженную ее пальцами там, где был разорван, не защит рукав, она вдруг поняла все. И, с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, зарыдала жаркими, обжигающими слезами, вся вздрагивая, крича что-то, моля о справедливости.

Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень, с нежарким блеском солнца на каменных мостовых, потертых гусеницами танков, усыпанных битым стеклом, за железными оградами тихо дымили, догорали дома, чернели обугленные сады, летели над ними, таяли пронизанные солнцем неосенние облака. И то, что Гулько сидел на КП в шлепанцах и без гимнастерки, и то, что спали возле телефонов связисты, – все говорило о жизни будничной, а младшему лейтенанту Алешину хотелось плакать.

Младший лейтенант Алешин, то ли выбритый, то ли умытый, с чистым подворотничком, в новой шинели, стоял перед Гулько, худой, осунувшийся, бледный, – резко проступали веснушки его – и ровным голосом, не стесняясь слез,

бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова. И вытирал рукавом щеки. И странно было видеть его чистый подворотничок, детские веснушки на ошеломленном не детском лице и видеть его слезы и этот мальчишеский жест, которым он вытирал их.

– Капитан Новиков? Новиков!.. Тот мальчик? Не верю! Не верю! Не может быть! – почти крикнул Гулько, ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши на карте, и отвернулся к стене, моргая красными, воспаленными глазами. Кашляющий звук вырвался из его горла, длинный нос некрасиво, толсто набух, майор сглотнул, потер горло, пробормотал хрипло: – Идите и принимайте батарею. Идите... Через полчаса мы снимемся. Наши танки уже в Марице. Слышите – в Марице!

Младший лейтенант Алешин вышел и двинулся по городу к медсанбату. На углу его ждал Горбачев.

Стояла властная тишина в городе. И «катюши» в чехлах под уцелевшими домами, и санитарные машины, замаскированные под кленами улиц, спокойно залитых солнцем, и кухня, дымившая в соседнем дворе, и голоса солдат возле нее – все по-прежнему говорило о жизни будничной. Но младшему лейтенанту Алешину никогда не было так одиноко, так пусто в этом огромном, чудовищно тихом мире.

В медсанбат Лену привезли ездовые. Войдя во двор, а потом в сад, уставленный санитарными повозками, носилками, Алешин не сразу увидел ее. Она лежала на носилках, то-

ленькая, прозрачная, как осенний луч, прижавшись щекой к подмятой под голову шинели, ровные брови, страдальчески сдвинутые, оттеняли белизну лба, иногда они вздрагивали, словно по лицу проходили отблески того, что было в ней. Она смутно услышала голос Алешина – чем-то близким, знакомым повеяло на нее, – открыла глаза, но не ответила ни голосом, ни взглядом, только прощально пошевелила рукой – одними пальцами.

– Леночка... прощай... Леночка, мы тебя не забудем... Леночка, прощай...

Она не слышала, как ушли Алешин и Горбачев, лежала тихо, в тяжелом забытии, будто погружаясь в теплую воду, с одним желанием, чтобы никто не прикасался к ней.

До нее слабо доносились звуки из внешнего мира: шаги в саду, шорох шинелей, мимо тенями проходили санитары, перешагивая через нее, шелестела трава, сухие листья, слетая с яблонь, невесомо падали на грудь ее, путались в волосах, и кто-то рядом протяжно, сквозь стоны просил воды, звал кого-то захлебывающимся шепотом.

«Кто это стонет? Неужели он не может сдерживать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль?» – думала она, и лицо ее дергалось, и брови дрожали, и, кусая губы, вся сжимаясь, она старалась найти в своей памяти то, что было до его смерти, – его голос, его привычку поправлять пистолет, его взгляд, его улыбку.

Раз открыла глаза. Голые ветви яблонь уходили в низкое,

кипевшее облаками небо, там выгнутыми фиолетовыми полосами сиял непонятный мягкий свет, плыл, переливаясь, под холодным осенним солнцем. «Откуда этот свет? И зачем он? – подумала она. – Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет... Зачем все это?..»

– Ишь ты, солнце разыгралось. Красота какая! Экая тишина в мире – не поверишь! – донесся до нее крутой прокуренный голос, и это земное жестоким толчком вытолкнуло ее из полузабытья, краем сознания поняла, о чем так красиво говорил этот неизвестный, почему-то окрашенный в серый цвет голос, и, повернув голову, почти с ненавистью увидела на крыльце дома седого человека в белом халате, с темными пятнами на рукавах. Прислонясь спиной к косяку двери, он медленно, утомленно курил, глядя в небо над садом.

Лена отвернулась, как бы защищаясь, приникла щекой к колючему ворсу шинели и, плача, смотрела на соседние носилки, откуда все время слышала стоны. Молоденький белокурый чех тоскливо бредил, пытаясь сорвать бинты на груди, капельки пота выступили над верхней губой, покрытой детским пушком, чех шептал, точно торопясь куда-то, непонятные отрывистые слова, и она с трудом разобрала:

– Воду... воду...

Она нащупала фляжку, приподнялась, долго, словно неумело, отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами, а когда, сдерживая рыдания, прислонила фляжку к губам чеха, увидела сквозь слезы, как он, всхлипывая от облегче-

ния, глотает воду, прошептала:

– Боль пройдет, боль пройдет...

И легла на левую сторону груди, где была тоска, снова прижимаясь щекой к колючему ворсу, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.

1959